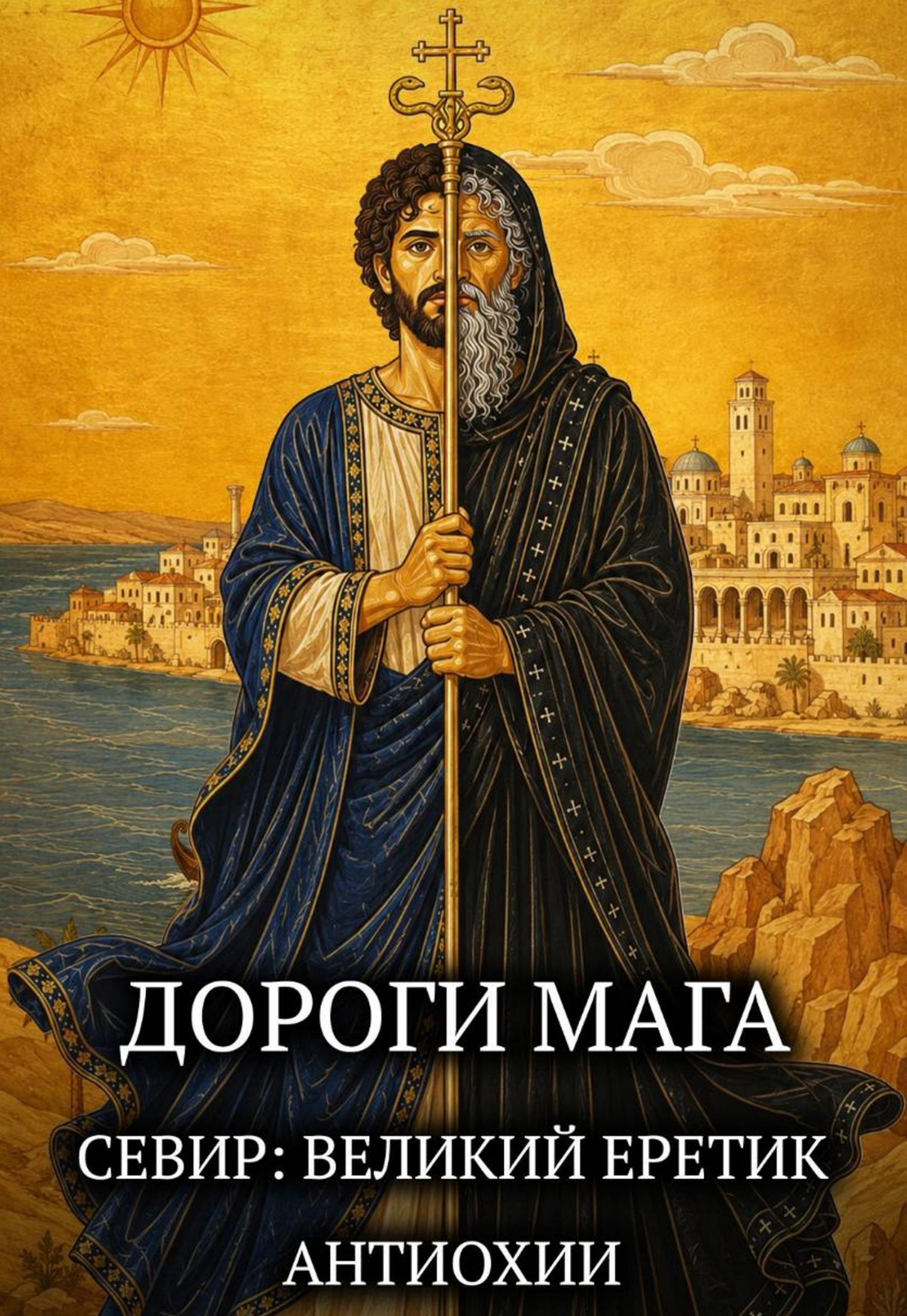


ЭНМЕРКАР



ДОРОГИ МАГА

СЕВИР: ВЕЛИКИЙ ЕРЕТИК

АНТИОХИИ

Эн Меркар

**Дороги Мага. Севир:
великий еретик Антиохии**

«Автор»

2026

Меркар Э.

Дороги Мага. Севир: великий еретик Антиохии / Э. Меркар —
«Автор», 2026

Книга Энмеркара «Дороги Мага. Севир: великий еретик Антиохии» — историко-мистическое повествование о Севире Антиохийском, монахе, богослове и патриархе VI века. В основу книги легли воспоминания автора о собственном прошлом воплощении — жизни Севира; рассказ ведётся от лица Иоанна Скотта Эриугены, для которого эта жизнь возвращается как память. Путь героя проходит от языческого Созополя, школ Александрии и Берита до крещения, монашества в Маиуме и Антиохийской кафедры. Оказавшись в центре споров вокруг Халкидонского собора, Севир пытается сохранить цельность веры в мире церковной политики и императорских компромиссов. После изгнания в Египет его борьба продолжается в текстах и тайном имени; книга развивает гипотезу о Севире как авторе корпуса Дионисия Ареопагита. Это история о верности, слове, власти, изгнании и духовной памяти — о человеке, для которого точность богословской формулы становится дисциплиной духа, а мысль преодолевает границы эпох, языков и личных имён.

© Меркар Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Пролог	7
Часть 1. Имя и судьба (465-485)	13
Буква, камень и южный свет	13
Дом строгого имени	16
Скальпель слова	20
Отсрочка перед дверью	23
Часть 2. Мать законов: блеск и нищета Берита(485-488)	31
Дорога в Александрию	31
Предел эллинской мудрости	35
Церковный суд	39
Закон, форма и свет справедливости	46
Часть 3. Пески Маиумы (488–508 гг.)	57
После купели	57
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Эн Меркар

Дороги Мага. Севир: великий еретик Антиохии

Предисловие

Книга, которую читатель держит перед собой, продолжает серию «Дороги мага», посвященную фигурам, в разные эпохи оказывавшимся на границе распада и порядка. Речь во всех книгах идет о людях, чья деятельность была связана с удержанием мира в форме в те периоды, когда эта форма начинала расплываться. В разных исторических обстоятельствах они действовали по-разному: с помощью поддержания догматической точности, философского мышления, духовной дисциплины, через построение символических и интеллектуальных систем. Однако во всех случаях их труд был направлен против распада — смыслового, религиозного, политического или метафизического.

Серия исходит из идеи автора, что такие фигуры могут рассматриваться как разные проявления одного и того же потока сознания. Это сознание в каждом веке обретает новую историческую задачу, иной язык, другую культурную оболочку, однако сохраняет некоторые устойчивые признаки: тяготение к целому, недоверие к хаосу, повышенную чувствительность к разрушительной силе неточного слова, стремление соотнести видимый порядок с более высоким принципом. В рамках серии это понимается как рабочая интерпретационная гипотеза, позволяющая сопоставлять биографии, тексты и духовные открытия людей, разделенных веками.

При этом каждая книга серии стремится и к исторической объективности, к точности дат, мест и обстоятельств, к вниманию к бытовой, культурной и языковой среде эпохи. Однако каждая отдельная биография рассматривается и как выражение повторяющейся задачи, которая в разные времена вновь встает перед человеком и перед обществом. Поэтому задача серии — проследить, как в живут люди, выполняющие функцию удержания формы тогда, когда большинство склонно либо к приспособлению, либо к упрощению, либо к распаду.

Настоящая книга посвящена [Севиру Антиохийскому](#) — одной из ключевых фигур поздней античности и ранневизантийского христианского Востока. Он видится прежде всего как мыслитель предельной догматической ответственности. Для него вопрос о слове, термине, формуле и различении никогда не был отвлеченным. В богословском языке он видел один из главных инструментов сохранения самой христианской истины. Именно поэтому вокруг его имени сошлись острые конфликты своего времени: христологические споры, борьба церковных партий, отношения между богословием и императорской властью, столкновение монашеского опыта и административной церковности.

Его борьба велась на уровне определений, но предмет этой борьбы был предельно реален. Речь шла о том, возможно ли сохранить целостное понимание воплощения, не разрушив внутреннюю связь между Богом, человеком, Церковью и спасением. Поэтому в его случае защита формулы была одновременно защитой космического и духовного порядка.

Предлагаемый текст не претендует на исчерпывающий научный комментарий ко всем аспектам биографии Севира и не заменяет специальной патристической литературы. Его задача состоит в том, чтобы показать внутреннюю логику этой фигуры, проследить, как из конкретной исторической среды, из семьи, образования, риторической школы, монашеского влияния, политического давления и личной духовной дисциплины складывается тип сознания, для которого верность истине становится важнее удобства, компромисса и собственной без-

опасности. В этом смысле книга обращает внимание, что подобные типы сознания сохраняют значение и за пределами своей эпохи, поскольку вопрос о соотношении формы и истины, языка и реальности, порядка и распада не принадлежит одной только поздней античности.

Объединяющая идея всей серии — представление о разных исторических фигурах как о воплощениях одного сознания — не навязывается читателю как обязательная идея для чтения. Текст может быть воспринят и как самостоятельное повествование о Севире Антиохийском, и как часть более широкого цикла, выстроенного вокруг повторяющихся духовных и интеллектуальных архетипов. Однако именно эта идея позволяет увидеть в биографии Севира не только частный сюжет церковной истории, но и одно из звеньев длительной линии, проходящей через разные эпохи и вновь ставящей перед человеком один и тот же вопрос: каким образом удерживать мир в форме, когда все вокруг склоняется к распаду.

Повествование в настоящей книге ведется от лица философа IX века Иоанна Скотта Эриугены. Такой выбор обусловлен общей установкой серии, в которой Севир и Эриугена рассматриваются как разные исторические воплощения одного потока сознания. Соответственно, голос Эриугены выступает здесь как инструмент интерпретации и реконструкции, как тот, кто достаточно близок к Севиру, чтобы быть в состоянии «вспоминать» его жизнь.

Пролог

Меня звали по-разному. Во Франкии я был Иоанном Скоттом Эриугеной, для одних — учителем, для других — человеком беспокойным, принесшим в латинский мир чрезмерно много опасной греческой глубины. На острове, где я родился среди северных ветров и соленой сырости, имя мое звучало иначе, а в детстве его и вовсе чаще слышал берег, чем книжник. Я прожил долгую жизнь среди дворов, школ, скрипториев и богословских тяжб. Мне довелось держать в руках книги, которые иным казались острее меча; довелось видеть королей, любивших разум, пока он помогал удерживать порядок; довелось спорить с людьми, для которых одна формула значила больше, чем судьба целой Церкви. Теперь годы сделали мое зрение слабее, а память — властнее, и потому я решил записать то, о чем прежде так долго молчал.

Я начинаю эту книгу без надежды, что ее поймут и перепишут в скрипториях, и без намерения что-либо доказывать. В мире и без нее довольно свитков, в которых ум спорит с умом и слово теснит слово. Я начинаю ее потому, что очень долго принимал за особую ученость то, что в действительности было памятью. Поначалу мне казалось, что я всего лишь сопоставляю характеры, узнаю сходные движения мысли, различаю в новых лицах древние черты, которые повторяются из века в век. Так мог бы рассуждать всякий, кто много читал и долго жил. Однако пришел час, когда мне пришлось допустить нечто более тревожное: душа порой узнает прежде рассудка, и знание, которое она приносит, далеко не всегда рождается из книг и пересказов. Когда же таких узнаваний, не вмещающихся в обыденность, накапливается непомерно много, молчание начинает тяготить строже любого церковного суда.

Недавно, при дворе короля Карла, в тишине скриптория, где мне было поручено работать над греческими книгами, я переводил ту главу «О божественных именах», в которой автор, скрывшийся под именем Дионисия, с особенным благоговением вспоминает своего учителя Иерофея. Пламя свечи сияло тонко и неподвижно, а воск медленно стекал по бронзе. За узким окном лежал холодный и пасмурный день франкской осени. Я уже много раз проходил через эти строки, знал их строй, их таинственную меру, их способность поднимать мысль все выше, туда, где слово начинает превосходить собственную плотность. И все же в тот день мое перо остановилось. Передо мной снова и снова возникало это имя, и мне показалось, что прежде я замечал лишь его внешний слой. Иерофей. Освященный Богом. Тот, кто говорил здесь под именем Дионисия, вспоминал его как человека богоприимного ума, как наставника, способного вместить свет, не расплескав его в слова прежде времени.

Я задержал дыхание и почувствовал, как холодный каменный пол уходит из-под ног, а сам воздух вокруг меня вдруг становится сухим и горячим. Вся промозглая франкская сырость исчезла, и в лицо мне явственно дохнула южная земля у моря, где песок и соль, молитва и усталость веками живут рядом. Я отчетливо увидел старца, лицо которого солнце и пост сделали почти прозрачным. Он сидел неподвижно, с закрытыми глазами, словно берег в себе последнюю долю видимого света, и у ног его сидел другой — молодой, напряженный, внутренне горящий, еще не ведающий, сколько споров, ссылок и тяжких перипетий заключено в его судьбе. Старец провел посохом по песку, начертил несколько знаков и тут же стер их ладонью. В этом движении я увидел больше учения, чем в самой длинной и подробной речи. Я услышал голос, тихий, сухой, как ветер над камнем: «Когда ищешь Единого, сперва стираются имена. Остается лишь то, чего язык уже не держит». И в тот миг я почувствовал это уже не как читатель чужого видения. Я словно пережил это изнутри, с такой силой, словно сам когда-то сидел у ног этого слепящего от света старца.

Вслед за этим жар отступил, и меня словно пронзил уже совсем другой воздух — сырой, северный, насквозь пропитанный морем. Перед глазами встал берег Лох-Суилли, серый свет над водой, тонкая тисовая ветвь в руке уже другого старика, стоящего на ветру. Я увидел Фин-

тана, своего наставника в Ирландии, как видел его в детстве, когда мое собственное имя — Эогайн — еще звучало в мире проще и древнее, когда вся мудрость для меня жила в голосах старших, в темных водах, в запахе торфа, в деревьях, умеющих переживать зимы. Он смотрел куда-то поверх меня, а может, в самую глубь пространств, туда, где встречаются берег нашего и даль иного мира. Потом заговорил, и голос его вошел в память глубже смысла отдельных слов: «Слово без корня уносится ветром. Слово из глубины удерживает берег и море». Тогда я был ребенком и не мог постичь всего смысла сказанного. Теперь же, сидя над греческим текстом, я вдруг понял, что через многие годы возвращаюсь к тому же порогу.

Когда видение отступило, передо мной снова лежал пергамент. Огонек все так же держался над фитилем, будто в комнате ничего не произошло. За окном оставался север. Перо было зажато в пальцах так крепко, что на коже проступила белизна. Но имя Иерофея уже не могло для меня оставаться книжной фигурой. Мне вдруг пришло в голову то, чего я прежде избегал даже в мыслях: под этим древним именем, быть может, скрыт не таинственный наставник апостольских времен и не одно только украшение священного письма, а живое лицо старца, который некогда ввел молодого Севира в Божественный Мрак, как иной старец на далеком севере однажды научил меня стоять у края глубины без страха. И тут мне вдруг стало ясно, что Иерофей — это и есть сохраненный под иным именем Петр Ивер, тот самый старец, который только что явился мне в видении. В тот же миг я допустил с определенностью и другое: тот, кто называл себя Дионисием, был Севиром, пожелавшим скрыть и собственное имя, и имя своего старца в апостольской тени. Он ввел учителя в текст так, чтобы память о нем уцелела под покровом древности, подобно тому как память о Финтане однажды незримо сформировала мой собственный ум. И тогда я понял, что это узнавание пришло далеко не первым. Оно лишь осветило прежние знаки, давно рассеянные по моей жизни.

Еще тогда, когда мне приходилось спорить с Хинкмаром, архиепископом Реймса, самым могущественным церковным умом нашего Запада, человеком, в котором пастырь, придворный и законник сошлись в пугающей смеси, я всякий раз выходил от него с чувством старой усталости, происхождения которой еще не умел объяснить. Он говорил спокойно, веско, с тем достоинством, которое обычно заставляет уступить уже одним тоном. В его речах всегда находилось место для порядка, мира, осторожности, памяти о древних авторитетах и подозрения ко всему, что грозит смутить церковное равновесие. И все же под этой стройностью я раз за разом слышал иной звук — сухой шелест людей, для которых истина дорога лишь до той поры, пока ее можно удержать в пределах полезного благоразумия. Помню один вечер, когда после долгого разговора он замолчал и слегка провел пальцами по столу, словно уже переставлял на невидимой доске фигуры будущего решения. Именно тогда меня обдало тяжким воздухом Востока, запахом масла, пыли и многочисленных соборов. Мне вспомнились сирийские епископы, искусные хранители мира, которые умели чтить святую голосом и отступать от нее молчанием в решающий час. Они тоже любили порядок. Они тоже говорили о единстве. И всякий раз вслед за их миролюбием приходила измена. Я смотрел на холеные, уверенные руки франка, но видел другие — сухие, сжимающие епископские посохи руки Апиония и Ефрема, под палящим солнцем Востока в тот год, когда умер старый император Анастасий. Как быстро тогда сменился ветер! Вчерашние соратники, клявшиеся в верности, в одночасье перекроили свои убеждения по мерке нового василевса. Руки франка пахнут дорогим пергаментом и воском, а руки тех, восточных — пахли пылью дорог и кровью александрийских улиц. Я глядел на Хинкмара и видел в нем целую породу восточных архиереев — тех самых, что при смене власти поспешно перекраивали свои убеждения, называли предательство заботой о мире, а интеллектуальную трусость — церковным послушанием.

Король Карл также казался мне знакомым с давних пор; точнее, он был очень похож на кого-то из далекого, еще не до конца моего собственного прошлого. Он был моим государем и покровителем, западным королем, любившим книги, ученые беседы и тот блеск ума, который

украшает трон, не умаляя его силы. В нем жила подлинная любознательность, и потому возле него можно было на миг поверить, что власть способна стать союзницей мысли. Однажды зимним вечером, когда огонь мягко играл на золоте его одежды, он долго расспрашивал меня о греческих отцах, о сокровенном смысле имен Божиих и о том, может ли человеческий разум подняться выше одной буквальности. Он слушал с удивительным вниманием, слегка наклонив голову, и именно в ту минуту мне вдруг стало больно от внезапной близости чего-то давно знакомого. И я уже словно видел подобного государя — в ином, более древнем мире, где царская мудрость соседствовала с царской боязнью потрясти основание мира ради истины. Лишь позднее я решился назвать имя, поднявшееся тогда из глубины: то был Анастасий, восточный император, человек тонкий, образованный, склонный к миру и потому особенно опасный для тех, кто однажды возлагал на него чрезмерные надежды. От него можно было ждать понимания, благосклонности, даже защиты, пока речь шла о равновесии царства. Но именно такие государи чаще всего отступают в тот миг, когда истина просит большего, чем разумное управление.

Готшалк, саксонский монах, ставший моим невольным оппонентом, тоже был знаком мне своей суровостью. Жизнь уже успела оставить на нем глубокие рубцы, а ум его обладал той жесткой силой, которая способна превратить одну мысль в целую судьбу. В его речах было мужество, и потому спор с ним не унижал, а изматывал. Он держался за избранную истину так крепко, словно уступить хоть на волос значило предать самого Бога. Когда я разбирал его доводы о предопределении, когда видел, как великая тайна Божия сжимается в излишне тесную формулу, в глубине моей возникал другой голос — восточный, бесстрастный, беспощадный к живой полноте ради сохранения логической чистоты. Так во мне пробуждался образ Юлиана Галикарнасского, одного из самых тонких и упрямых богословов сирийского мира, человека большого дара, дошедшего до той черты, где верность одной стороне истины начинает искажать все целое. Тогда я понял, что душа помнит не только лица и города. Она помнит способы мыслить, способы спорить, способы заблуждаться. Она узнает тот миг, когда мысль, призванная служить тайне, пытается захватить власть над ней.

И до сих самых пор, дольше всех, я избегал того узнавания, с которого начал этот рассказ, поскольку в нем был первоначальный источник. Именно от Финтана я в детстве принял первое чувство того, что мир гораздо глубже своего наружного вида, что слово должно иметь корень в бытии, иначе оно рассыпается в воздухе. Много позднее, когда в моей внутренней тьме шаг за шагом стал проступать молодой Севир, рядом с ним часто являлся и другой старец — Петр Ивер, от которого Севир принял первое великое знание о Божественном Мраке, о том, что высшая истина открывается там, где имена уже не владеют тем, что называют. И тогда мне стало ясно, что оба старца, северный и восточный, вошли в две разные юности одним и тем же даром. Один научил мальчика с берегов Лох-Суилли слышать в природе бездонную глубину. Другой научил юного сирийца склоняться перед той тьмой, которая выше всякого образа. После этого я уже иначе смотрел и на тот текст, где Севир говорил под именем Дионисия, и на собственный труд о четырехчастной природе. В них начинало звучать отдаленное родство двух начал.

Вот почему имя Иерофея потрясло меня сильнее всего в том тексте, где Севир говорит под именем Дионисия. В нем собралось все. Хинкмар оживил во мне старое знание о церковных людях, способных жертвовать истиной ради порядка. Карл напомнил о власти, которая любит мудрость лишь до тех пор, пока она удобна и не требует жертвы. Готшалк вернул память о поединке с умом, ищущим не полноты, а безупречности собственной идеи. Финтан и Петр Ивер соединились над всем этим, как два старца одной невидимой школы, один северный, другой восточный. Тогда я понял, что больше не имею права прятаться за своей ученостью.

Потому я и решил написать эту книгу, чтобы рассказать о Севире Антиохийском — великом епископе сирийского Востока, изгнаннике, полемисте, молитвеннике и одном из тех мужественных умов, которые не боялись будоражить наш мир. Я пишу ее и затем, чтобы объяснить,

почему его жизнь проникала в мою с той силой, с какой входят голоса раннего детства или слова умерших наставников, однажды навсегда определивших внутренний строй души. Быть может, читатель сочтет мои признания непомерно дерзкими. Быть может, и сам я в иные часы предпочел бы молчание. Но старцы, встретившиеся мне на двух краях мира, научили меня одному закону: слово должно восходить из глубины. Поэтому я и начинаю этот тайный труд — с надеждой, что в нем соединятся две памяти, два века и одна истина, долго искавшая себе подходящий голос.



Часть 1. Имя и судьба (465-485)

Буква, камень и южный свет

Я долго думал, с какого места следует начать описание жизни Севира. Можно было бы сразу вывести его на антиохийскую кафедру, среди епископов, императорских указов, ссылок, соборов и тех великих споров, где каждое слово уже звучит как приговор. Можно было бы начать с Петра Ивера, с пустыни, с молитвенного мрака, из которого выросла его зрелая мысль. Но всякая судьба имеет свои корни и свои причины, и пока они не поняты, позднейшие деяния могут оказаться трудно объяснимым. Поэтому я должен был вернуться к самому началу — к имени, к детскому дому, к языческому Созополю, к первому прикосновению к слову, еще не ставшему догматом, но уже требовавшему верности. И началось это возвращение не с целенаправленного намерения о воспоминании, а внезапно, с одной греческой буквы, удержавшей мое перо в холодном скриптории Кьерзи.

Осенью 862 года в Кьерзи холод входил в самые кости, хотя и не так вероломно, как в Ирландии. Северный ветер моей родины был груб, солон, широк, он ударял прямо в лицо и тем самым оставлял человеку возможность сопротивляться. Франкский же холод был одновременно тоньше и коварнее. Он просачивался через щели в ставнях, скользил по каменному полу, собирался в сырости стен и оседал на пальцах так, что перо начинало слушаться медленнее, чем того требовала бегущая по лестнице логосов мысль. По утрам над Уазой обычно клубился туман. Он поднимался от воды медленно и тяжело, цеплялся за крыши, за деревянные галереи, за узкие окна дворцовых помещений и делал весь мир таким бледным, словно сам Бог еще не решил, в каком цвете даровать этому дню существование.

Я сидел в скриптории дворца Карла и переводил Корпус Ареопагитикум.

За стеной время от времени слышались шаги людей двора, приглушенные голоса, скрип дверей, дальний лязг оружия. В таких местах мысль почти никогда не может достичь монастырского умиротворения. При дворе вокруг книг всегда присутствует власть: королевские указы, споры епископов, придворная зависть, ожидание ответа, тревога перед неверно понятым словом. Но в те часы для меня все это отступало. Передо мной лежал греческий кодекс, рядом — лист пергамента, на котором латинская строка рождалась медленно, в напряженной борьбе с каждым словом. Я работал над седьмой главой трактата о небесной иерархии, там, где Дионисий говорит о высших чинах, о Серафимах и Херувимах, о горнем славословии, которое никогда не умолкает.

Всякий перевод начинается с послушания перед словом. Пока рука торопится заменить один язык другим, смысл еще закрыт. Нужно сперва остановиться, дать чужому слову отстояться в душе, позволить ему обнаружить собственный вес. Особенно это верно для греческих слов, рожденных в богословской тишине Востока. В них заключены опыт молитвы, воздух и дым литургии, споры Отцов, свет соборов, долгие века кропотливого поиска верного выражения Истины. Переводчик, коснувшийся такого слова, уже отвечает не перед грамматикой одной, но перед всей памятью Церкви.

Я читал греческие строки шепотом, почти беззвучно, одним движением губ. Такое чтение всегда помогало мне находить собственное дыхание текста. Греческое слово редко отдает себя читателю сразу. Его сперва нужно услышать внутри, позволить ему раскрыть свой характер, свою глубину, свой скрытый жар. Когда Дионисий касался небесного пения, сам язык становился как бы выше обычной речи. Он не описывал ангелов со стороны, он вводил сам ум в область, где слова уже сами являются проявлением горнего света, а славословие оказывается выражением самой природы бытия.

Передо мной стояли слова из видения пророка Исаии: Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου. (Агиос, агиос, агиос Кириос Саваоф; плирис о уранос кэ и ги тис доксис су. *Свят, Свят, Свят Господь Саваоф; исполнены небеса и земля славы Его.*)

Я остановился.

Перо зависло над листом. На конце его дрожала маленькая темная капля, уже готовая было сорваться и испортить строку. Я видел перед собой греческое слово Δόξα. В нем было что-то простое и вместе с тем очень трудно переводимое. В этом слове была заключена странная судьба самого греческого ума. У древних эллинов δόξα восходила к δοκέω — казаться, мниться, представляться сознанию. Она обозначала мнение, человеческое суждение, тот изменчивый образ вещи, который возникает в душе прежде ясного знания. Философы относились к ней осторожно. Для Платона докса стояла ниже эпистемы, ниже подлинного ведения, потому что мнение легко следует за видимостью и принимает отблеск за саму истину. И все же Церковь взяла именно это слово и наполнила его особой тяжестью. В греческих книгах Писания δόξα стала появляться там, где еврейское священное Писание говорило о *kavod* — о весе, значимости, сияющем присутствии Божиим. Так слово, некогда связанное с человеческим мнением и видимостью, было поднято до Божественной славы. В нем словно совершилось само обращение разума: то, что у человека начинается как кажимость, в Боге становится явлением полноты. Поэтому и православие, ὀρθοδοξία, в своем глубоком смысле требует верного славословия, верного состояния ума и верного предстояния перед Светом. Право мыслить о Боге неотделимо от права славить Его, потому что и мысль, и песнь должны быть очищены от произвола. Так слово Δόξα являлось для меня свидетельством того, что человеческое мнение может быть исцелено и обращено во славу.

А потому, хотя «слава» — *gloria* — и казалась верным латинским ответом, формальная латинская верность все же не снимала напряжения. Δόξα несла в себе сияние, честь, явленность, торжественное присутствие, то состояние истины, когда она становится видимой, слышимой, осязаемой. В латинском *gloria* чувствовалось величие; в греческом Δόξα присутствовал еще и отблеск самой сути явления. Я долго смотрел на эти буквы, словно на врата к иной реальности.

Постепенно внимание мое словно погрузилось в самую природу греческой мысли. Буквы словно сами, своей формой, своим духом стали возвращать мне какую-то глубоко скрытую давнюю память. Поначалу это было едва заметное изменение в теле: пальцы, державшие перо, вдруг вспомнили не гладкость пера, а шероховатость вырезанной буквы; зрение, обращенное к строке, почувствовало глубину каменной грани; само слово Δόξα словно сошло с пергамента и обрело тяжесть вещества. Так мысль, еще мгновение назад занятая различением смыслов написанного, стала воротами к воспоминаниям.

Постепенно сам холод скриптории словно поменял свою плотность. Каменный пол, туман за окном, сырость франкского утра — все это отступило как сон. А я, будто проснувшись, снова ощутил под пальцами шероховатый камень; не плоский лист пергамента, не доску стола, не гладкий край чернильницы, а влажный северный гранит, покрытый древней резьбой.

Мне тогда было семь лет. Я стоял во дворе монастыря Фахан, на берегу Лох-Суилли, и касался греческих букв на кресте святого Муры. Тогда я еще не умел читать их по-настоящему, но словно почувствовал раньше знания. На боковой грани камня были выбиты слова: Δόξα καὶ τιμὴ Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Πνεύματι Ἁγίῳ. Слава и честь Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Камень хранит память не так, как книга. Книга говорит с тем, кто умеет читать; камень же действует словно по своей собственной воле, даже прежде всякого чтения. По его поверхности проходит дождь, холод, прикосновение рук, смена веков, а потому его память глубже и прочнее временного человеческого намерения. Тогда в Фахане я ясно почувствовал, что буква, высеченная в камне, принадлежит сразу двум видам логоса. Она остается знаком языка и вме-

сте с тем оказывается и частью прямого ведения самой земли. Быть может, потому именно тот камень открыл мне путь к Севиру. Его имя, его город, его судьба были не рассказаны мне, а естественно поднялись из самого вещества, словно материя сохранила в себе след той строгой души.

Крест Муры был холоден, сыр от тумана и дождя, и буквы его казались частью самой северной земли. И все же через них ко мне пришел южный ветер. Холодный ирландский гранит под моей ладонью словно потеплел. Уже тогда, в детстве, на одно мгновение за влажным воздухом Ирландии предо мною вспыхнул иной свет, резкий, слепяще-белый. Сырой запах Лох-Суилли сменился запахом южной пыли. Я увидел сухие горы на дальнем краю земли, мрамор, раскаленный солнцем, узкие улицы города, где воздух пах оливковым маслом, вином, нагретой кожей и лавром.

Дом строгого имени

Теперь, в Кьерзи, это почти потерянное детское воспоминание вспыхнуло с такой силой, что я едва не выронил перо. Франкский туман исчез. Передо мной уже высился Созополь Писидийский.

Он проявился во мне словно из самой глубины памяти, с той достоверностью, с какой воспоминание возвращает человеку чувство собственного тела, воздуха, света, прежних надежд и страхов.

Город раскинулся высоко над долинами, среди сухих склонов, белесого камня и дорог, уходящих к синим отрогам Тавра; воздух был прозрачен и жесток от солнца, а тень от стены казалась вырезанной ножом. Созополь был построен уступами: плоские кровли, выбеленные стены, узкие проходы между домами, внутренние дворы, закрытые от уличной пыли, лестницы, уходящие вверх по склону, и темные проемы ворот, за которыми на мгновение виднелись виноградные лозы, кувшины, водоемы и полосы тени. Камень здесь был светлее ирландского и казался высушенным солнцем до полупрозрачности. В полдень город вообще слепил глаза: белые стены отражали свет, черепица и плоские кровли дрожали в жаре, а дальние горы синели так холодно и неподвижно, словно принадлежали и не земле, а самому краю видимого мира.

Ниже, ближе к рынку, улицы делались теснее и шумнее. Там с утра уже стоял непрерывный гул: голоса торговцев, скрип колес, крики погонщиков, стук копыт, лязг весов, смех женщин у лавок, спор двух мужчин возле колонны. В воздухе было много запахов, смешанных в общий поток: свежий хлеб, оливковое масло, рыба, нагретый камень, пряности, шерсть, пот и навоз животных, благовоние, тянувшееся из закрытого внутреннего двора.

Я вдруг явственно увидел людей в совершенно других одеждах, не знакомых мне ни по Ирландии, ни по Франкии. Передо мной проходили мужчины в коротких подпоясанных туниках, в светлых плащах, наброшенных на плечо от пыли и солнца; у погонщиков края одежды были темны от дороги, у торговцев — залоснились от масла и постоянного прикосновения рук. Видел, как более знатные горожане носили длиннее скроенные туники, чистые по краю, с узкими полосами отделки, и плащи, уложенные так, чтобы сама складка говорила об их достоинстве для первого же встречного. Женщины шли степенно, в покрывалах и длинных одеждах мягких выцветших тонов — охры, сухой зелени, старой розы, небеленого льна; ткань закрывала волосы от солнца и одновременно отделяла домашнее достоинство от рыночного шума. Дети бегали босые или в простых сандалиях, с открытыми коленями, с пылью на руках и с той свободой тела, которую уже невозможно было и представить в мое время.

Это было около четырехста шестьдесят пятого года от Рождества Христова, в царствование Льва, когда Халкидонский собор уже отстоял от настоящего времени на полтора десятилетия, но его решения еще не стали миром для Востока. Тогда, в высоком писидийском Созополе, и родился мальчик, которому дали имя Севир. По документам городского совета Созополя, аккуратно занесенным в списки курии, младенец значился как Флавий Валерий Севир. Это было тяжелое, перекатывающееся, чеканное имя, в котором звучала гордость патрициев, римское достоинство и непоколебимая власть закона.

Я видел дом его отца. В этом доме не было показной власти больших дворцов, зато в самой череде комнат, в порядке двора, в спокойствии слуг и в уверенной речи хозяина чувствовалось прочное положение людей, привыкших к закону, достатку и уважению. Внутренний двор был выложен камнем. В центре был сделан небольшой бассейн (*импловий*), отражавший полоску неба. По стене цеплялся виноград. В жаркие часы женщины закрывали проходы тканями, чтобы удержать прохладу. В одной комнате хранились таблички, свитки и документы отца. В другой, более внутренней, комнате хозяйка хранила небольшие сосуды с благовониями,

тонкие ткани, бронзовую лампу для домашних возжиганий, небольшие изображения старых богов и амулеты, завернутые в выцветшую материю. Эти вещи держали вдали от чужого глаза, потому что древнее благочестие предпочитает закрытость и его следует держать в стороне от шумных обществ.

Отец Севира, Флавий Валерий Каллист, был римлянином до мозга костей. Он всегда держал свою спину прямо, говорил ясно, любил точность в документах и презирал все, что казалось ему слабостью ума или тела. Он хорошо знал законы, ранги и должности, городские обязанности, обычай курий, порядок налогов, значение подписи и опасность неверно составленного прошения. Когда он говорил о христианах, в голосе его появлялась едкая насмешка. Он не был врагом еще тогда молодой Церкви, не был пьяным богохульником или грубым гонителем. Но именно такие люди часто оказываются опаснее открытой злобы, ибо считают веру болезнью слабых умов, а мучеников — не героями, а людьми, утратившими чувство меры. Христос казался ему Богом тех, кто из слабости не выдержал тяжести мира и потому пожелал заменить священный порядок империи иллюзорным царством невидимых надежд.

Мать, Аврелия Арета, была более мягкой в словах и суждениях. Она происходила из старого, глубоко укорененного в этих горах рода, чьи предки когда-то держали жреческие должности в древних святилищах Писидии задолго до того, как империя приказала погасить алтари. Для нее эллинство было непрерывной памятью крови и земли. Она не спорила с мужем о философии и богах. Внешне она тщательно соблюдала порядок дома, принимала гостей, следила за тканями, рабами, кухней, приданым, семейной честью. Но в часы, когда двор затихал, она возжигала благовония перед малыми образами в Ларарии и шептала имена, которые в городе еще произносили многие, хотя делали это все осторожнее. В ее верности старым богам учения было меньше, чем памяти. Она не защищала эллинство как ритор, не строила доводов против Галилеянина. Она просто жила так, словно дом без покровительства прежних сил окажется пустым, бессмысленным и беззащитным.

Каллист одевался так, как подобает человеку городского положения: чистая светлая туника, тщательно затянутый пояс, плащ без лишней пышности, но из доброй ткани, сдержанная отделка по краю, перстень, которым рука привыкла касаться табличек, печатей и прошений. Арета, напротив, предпочитала ткани мягче и глубже по цвету. В ее покрывале, в тонкой складке у шеи, в легком запахе благовоний, который держался на одежде после домашних возжиганий, чувствовалась не должность, а память. Она была одета как женщина, хранящая дом изнутри, с теми малыми знаками, которые сразу понимают служанки, матери и старые боги домашнего очага.

Такое устройство созопольского дома Севира открывало передо мной важное понимание, к которой современный христианин приходит с болью и трезвением: настоящая вера не передается по праву крови и не рождается из власти над другим человеком. Отец и мать Севира были глубоко укорененными язычниками, и все же именно через них Промысл приготовил того, кто должен был стать защитником Православия. Каллист дал сыну дисциплину закона, Арета — память о священном страхе перед невидимым, но сам путь ко Христу должен был совершиться внутри Севира свободно, через созревание ума, совести и воли. Спасение нельзя вложить в человека как наследство, нельзя навязать ему как должность, нельзя передать через семейное старшинство. Душа может быть окружена знаками, предупреждениями, примерами и молитвами, но окончательный ответ она дает сама, из глубины своей природы. Потому язычество его родителей было той землей рождения, на которой человеческая свобода открывала собственную ответственность перед Истиной.

И все же над этим языческим домом уже отчетливо чувствовался дух новой эпохи.

Дед мальчика по отцовской линии, тоже Севир, был христианским епископом Созополя. В семье о нем говорили с уважением, но без того почтения, с каким упоминали бы живую опору дома. Для Каллиста отец оставался человеком достойным, хотя и ушедшим в непонят-

ные заблуждения. Для Ареты — старшим, с которым следовало быть осторожной. Для слуг — фигурой по-своему страшной, потому что в нем соединялись родовая власть и власть Церкви.

В ночь перед рождением внука старому епископу было видение. Это поведал потом Силуан, старый слуга дома, человек с выцветшими глазами и походкой того, кому ведомо непомерно много семейных тайн. Он рассказывал мальчику шепотом, когда тот уже был достаточно взрослым, чтобы запомнить, но еще слишком мал, чтобы понять всю тяжесть услышанного.

Старый епископ, говорил Силуан, проснулся до рассвета. Комната была темна, но в ней словно стоял свет без огня. Этот свет не отбрасывал тени. Он не падал на предметы, а словно выводил их изнутри к явности. Старик сел на ложе и услышал Глас. Голос сказал: *ребенок, который будет у твоего сына, укрепит Православие, и имя его будет по твоему имени.*

После этого старый Севир долго молчал. Утром он велел записать услышанное, но запись хранили не в доме Каллиста. Ей было место среди церковных бумаг, там, где человеческая память подчиняется святости алтаря.

Так имя было дано прежде, чем младенец увидел свет.

Севир. *Severus. Строгий.*

Это имя еще в детстве коснулось и меня самого, хотя между тем рождением в Созополе и моим первым воспоминанием в Фахане лежали века, моря и судьбы разных народов. Сейчас, в уже зрелом возрасте, я понимаю, что строгость в высшем смысле есть способность удерживать порядок там, где мысль легко распадается на шум, страх, пристрастие и удобную приблизительность. Я уже очень хорошо знаю, как быстро человеческий ум ищет обходную тропу, как охотно слово смягчает острый край истины, как переводчик, пожалев себя, способен передать автора едва заметным послаблением. Быть строгим — значит не позволять хаосу входить в строку под видом красоты, не отдавать смысл туману, не заменять верность удачной фразой. В самом этом имени я нашел важнейшее качество, без которого нельзя прикасаться ни к Дионисию, ни к Писанию, ни к самой природе вещей: ясность мысли, точность формулы, послушание смыслу и внутреннюю трезвость, удерживающую слово от произвола.

Я видел мальчика, который едва-едва начал понимать тяжесть собственного имени. Сначала оно было лишь звуком, которым его звали к столу, к учителю, к отцу, к матери. Потом Силуан открыл ему пророчество, и имя стало бременем. Бывают имена мягкие, в которых ребенку позволено расти легко, меняясь по возрасту и обстоятельствам. Но бывают и имена родовые, они прежде всего соединяют человека с предками. А потому имя «Севир» с ранних лет не оставляло места беспечности. Оно требовало прямооты. Оно словно утверждало, что его носителю нельзя быть неточным, нельзя расплываться, нельзя жить приблизительно, нельзя позволить мысли быть слабой, слову — мутным, поступку — незавершенным.

И потому, вспоминая его, я невольно возвращался к собственному имени. Меня в детстве звали *Эогайн*, и это имя тоже было дано не случайной домашней нежностью, а памятью рода. В нем звучал Эоган мак Нейлл, древний предок, от которого северные ветви Уи Нейллов выводили свое достоинство, свою власть и свое право стоять на высокой земле Айлеха. Такое имя с младенчества также словно возлагает на человека невидимый плащ, оно требует помнить, из какой крови ты вышел, чью славу продолжаешь, перед какими мертвыми отвечаешь каждым своим поступком. Но в моем имени была и другая глубина, открытая мне уже Финтаном. Имя «Эогайн» несло в себе и темный корень «еб» — тис, дерево зимней зелени, долгой памяти и перехода между видимым и сокрытым. Род слышал в моем имени честь предка; старик у западной стены научил меня слышать в нем дыхание дерева, стоящего у края времени. Поэтому тяжесть имени Севира была мне совершенно понятна. Он нес на себе строгость как печать будущего служения, я же нес тисовую память связи, корня и порога. Разные имена по-разному воспитывают душу, но всякое истинное имя с ранних лет является больше, чем простым зовом, оно становится внутренним законом.

Мальчик не сразу полюбил это имя. В детстве он иногда завидовал тем, кого звали проще, теплее, легче. Его старший брат Илиодор носил имя солнечное и красивое. Оно звучало так, будто человеку обещан блеск, удача, достойная должность, хорошая одежда, пиры, умение нравиться и проходить через жизнь с улыбкой. Илиодор и впрямь был таким. Он рано понял преимущества своего положения. Он любил хорошую еду, охоту, разговоры о карьере, рассказы приезжих чиновников, шутки молодых людей на форуме. Он не был глуп, напротив, в нем было достаточно ума, чтобы никогда не направлять его туда, где ум становится опасен для удобной жизни.

Севир же с детства слышал в своем имени приказ.

Однажды он спросил Силуана, почему дед хотел назвать его именно так.

Старик посмотрел на него долго, прищурившись от света, который падал во двор.

— Не дед хотел, господин мой. Так было сказано ему.

— Кем?

Силуан перекрестился. В доме Каллиста он делал это быстро и почти незаметно.

— Тем, Кто не нуждается в нашем разрешении.

Мальчик нахмурился.

— Отец говорит, что христиане любят говорить загадками, когда не умеют отвечать ясно.

Силуан улыбнулся одними глазами.

— Твой отец говорит ясно, потому что имеет дело с законами. Но законы сами держатся на словах, которые кто-то должен был однажды принять как истину.

Теперь, вспоминая этот дом, я понимаю, что Севир с детства жил среди нескольких истин, каждая из которых требовала признания. Отец учил согласно римским традициям, что всякое утверждение должно иметь основание, всякая просьба — форму, всякая обязанность — честь, всякий спор — процедуру. Мать учила его своей верности, более древней и домашней: не все произносится открыто; не каждый покровитель требует доказательства; есть силы, к которым обращаются, потому что так делали матери, бабки и прабабки. Дед, через видение и имя, вводил третью власть, христианские воззрения, пока еще далекие, но уже наложившие свою печать на будущее ребенка. Брат — показывал соблазн устроенной жизни, где ум служит положению, достатку и спокойствию. Такой дом мог разорвать слабую душу, но для души сильной он становился первой школой разума. Севир рано понял, что человек часто наследует не готовый путь, а несколько дорог сразу, и строгость нужна именно затем, чтобы не смешать их в мутную середину.

Так дом Севира был домом двух миров, хотя на деле миров было больше.

Скальпель слова

Обычные дни в этом доме начинались рано, еще до того, как солнце окончательно наполнило двор. Слуги отодвигали ткани у проходов, из кухни тянуло теплым хлебом, козым молоком, оливковым маслом и дымом от малой печи. Вода в имплювии сперва стояла темной, потом на ней появлялась тонкая полоска света, и мальчик любил смотреть, как эта полоска дробится от каждого шага по каменным плитам. Каллист обычно уже сидел над табличками или диктовал писцу, не повышая голоса, но так, что весь дом начинал двигаться согласно его воле. Арета проходила через двор легче и мягче, поправляя складки одежды, отдавая короткие распоряжения женщинам и задерживаясь взглядом у внутренней комнаты, где хранились ее лампы и благовония. Илиодор выходил позднее, уже причесанный, свежий, с тем довольным видом, который раздражал Севира именно своей естественностью. Сам Севир ел быстро, почти не чувствуя вкуса, потому что впереди его ждали таблички, учитель, повторение вчерашних ошибок и длинный день, в котором каждое слово взрослых могло оказаться уроком.

В детстве он носил простую одежду, короткую светлую тунику, перехваченную поясом, сандалии из мягкой кожи, иногда легкий плащ, который слуга набрасывал ему на плечи, когда утром воздух еще хранил ночную прохладу. Илиодор предпочитал более нарядную одежду, но и на Севире всякая вещь была добротна и тщательно подобрана. Каллист не терпел небрежности даже в одежде сына: неровно затянутый пояс, плохо сложенный край плаща, пыльная обувь перед учителем казались ему признаками той же внутренней распушенности, что и плохо построенная фраза. Поэтому Севир рано привык ощущать собственное тело собранным: пояс строго на середине тела, складка должна лежать прямо, рука не должна суетиться, взгляд не должен бегать. Так даже одежда становилась для него уроком четкости формы.

После утренних занятий его иногда отпускали пройтись до рынка или к портикам, и тогда Созополь являлся ему как городская школа обычаев, разговоров, событий и пересудов. Он видел продавцов масла, спорящих об объемах так горячо, словно речь шла о судьбе империи; ремесленников, сидевших в тени у своих лавок; погонщиков мулов, покрытых дорожной пылью; женщин, выбирающих ткань и одновременно обсуждающих чужие браки; мальчиков, гоняющих по камням орехи или черепки. У городского водоема люди говорили громче и свободнее, чем в доме Каллиста, и Севир рано понял, что низкая речь народа часто содержит куда больше правды о страхах города, чем тщательно выстроенные фразы должностных лиц. Он слушал все это с жадностью, хотя редко вмешивался. Уже тогда ему казалось, что город состоит из множества голосов, и каждый голос несет свой закон: торговец мыслит мерами и весами, чиновник — подписями и нормами, мать — безопасностью ребенка, старик — памятью об ушедших временах, а юноша вроде Илиодора — тем, как бы выйти из всякого разговора с пользой для себя.

В такие дни он чувствовал в себе странное раздвоение. Одна часть его жадно любила город: жар камней, шум рынка, блеск весов у торговца, быстрые насмешки мальчиков, уверенные шаги людей, знающих свое дело. Ему нравилось угадывать, кто лжет, кто боится, кто притворяется важнее, чем есть, кто уже проиграл спор, хотя еще продолжает говорить. Другая часть его уставала от этой пестроты и искала чего-то более чистого, собранного, окончательного. Он еще не знал, что именно ищет. Иногда ему казалось, что это совершенная речь. Иногда — справедливый закон. Иногда — такая истина, перед которой люди перестали бы хитрить и подбирать удобные слова. Но стоило этой мысли подняться чрезмерно ясно, как он сам пугался ее и снова возвращался к рынку, к смеху Стефана, к книгам, к юношеской свободе, где еще не нужно было искать точных ответов.

Утром в доме много говорили о законах, налогах, должностях, договорах, городских нуждах. В полдень приходил учитель, старый ритор Евмений, язычник тонкого и беспощадного

ума. Вечером мать могла возжечь благовоние, если была уверена, что Каллист занят бумагами или гостями. Иногда в дом приходили христиане, связанные с положением деда. Их принимали холодно, но не прогоняли. Каллист терпел многое ради приличия и рода. Севир же наблюдал за всем этим.

В нем рано развилась привычка судить о людях по манере их речи. Он замечал, что отец говорит как судья даже за обедом. Замечал, что мать, обращаясь к слугам, выбирает выражения мягче, когда просит о чем-то, связанном с ее тайными обрядами. Замечал, что христиане говорят о смерти не так, как эллины. Замечал, что брат Илиодор умеет так легко менять тон, что всякая серьезность возле него становилась менее обязательной. Это раздражало Севира и одновременно притягивало. Он понимал, что такая легкость делает жизнь проще. Но его имя словно не позволяло ему идти этим путем.

Евмений стал первым человеком, который превратил эту внутреннюю тяжесть в ремесло.

Он был стар, суров, с узкими губами и глазами, в которых удовольствие появлялось лишь тогда, когда ученик ошибался достаточно тонко, чтобы ошибку было интересно разобрать. Он учил аттическому слогу, заставлял мальчика читать Либания, Демосфена, Платона, упражняться в периодах, искать точность глагола, не смешивать оттенки, не позволять фразе расползаться. Он говорил, что язык — это скальпель. Если рука дрогнет, ты не вскрыешь суть вещи, а только изуродуешь ее поверхность.

— Запомни, Севир, — говорил он, постукивая костяшкой пальца по восковой табличке. — Плохой воин теряет свое тело. Плохой же писец убивает смысл. Второй даже опаснее, потому что труп смысла продолжает ходить между людьми и рождает все новые ошибки.

Мальчик слушал с напряжением, с жадностью к познанию. Он любил эти уроки и вместе с тем боялся их. Евмений не прощал приблизительности. Если Севир выбирал слово, близкое по смыслу, но не точное, старик велел ему повторять всю фразу сначала, и иногда — по несколько раз. Если мальчик строил период красиво, но с малой логической слабостью, Евмений перечеркивал его без сожаления. Если Севир сердился, учитель становился спокойнее.

— Гнев полезен лишь когда он подчинен форме. Пока он бежит впереди мысли, он годится только для рынка.

Так в Севире постепенно развивалась та строгость, которая позднее станет казаться людям суровостью его характера. Но в детстве она еще была не чертой нрава, а неосознаваемым страхом перед распадом. С каждым днем он все яснее чувствовал, что именно точное слово держит мир в форме. Неточное слово не просто ошибается, оно словно расшатывает саму связь между вещью, мыслью и действием.

Однажды отец взял его с собой на суд.

Севиру было тогда около тринадцати лет. День стоял жаркий. Судебное помещение было наполнено тяжелым воздухом, потом людей, пылью и плохо сдерживаемым раздражением. Как сенатор, Каллист сидел среди городских должностных лиц, спокойный, выпрямленный, уверенный. Перед ними стояли два человека, спорившие о земле и обязательстве, записанном несколько лет назад. Дело казалось ясным тем, кто знал его по справедливости. Один из тяжущихся, бедный и упрямый, явно имел правду на своей стороне. Другой же имел лучшего писца, более ловкого защитника и документ, где одна формула была составлена так двусмысленно, что позволяла перевернуть весь смысл договора.

Севир сперва не понял опасности. Ему казалось, что судьи, зная обстоятельства, легко восстановят правду. Но спор пошел вокруг одного знака, одной малой связки, одного места в записи, где грамматика открывала две возможности трактовки. Защитник богатого человека говорил спокойно, даже отчасти ласково. Он не отрицал очевидного, он лишь показывал, что текст можно прочесть иначе. И чем дольше он говорил, тем яснее Севир видел ужаснувший его процесс, как правда, существовавшая в жизни, начинала проигрывать версии, искусно слепленной из слов.

Каллист слушал неподвижно. В его лице не было ни жестокости, ни смущения. Для него закон был тем единственным, что могло быть доказано в установленной форме. И в итоге всех разбирательств решение было вынесено против того, кто был прав по существу.

Когда люди вышли, Севир долго стоял у колонны. Ему было дурно от жары и от чего-то еще, чего он не мог назвать. Отец заметил его состояние и велел подать воды.

— Ты слишком впечатлителен, — сказал Каллист. — Право живет формой. Кто не способен правильно построить форму, теряет и защиту права.

— Но он был прав, — произнес Севир.

Отец посмотрел на него внимательно.

— Возможно. Но суд не может опираться на твои чувства. Суд исходит из доказанного.

— Значит, одна неверная буква может уничтожить любое правовое дело?

Каллист пожал плечами.

— Одна неверная буква иногда стоит дома, земли или жизни. Потому грамотный человек должен превыше всего быть точен.

Севир ничего не ответил.

В тот день он впервые испытал метафизический ужас перед неточностью. Не перед человеческой ложью, к ней он уже привык. Не перед несправедливостью, о ней говорили и раньше. Его ужаснуло, что сама реальность людей так сильно зависит от хрупкой поверхности языка. Дом, земля, честь, судьба семьи, и даже сама жизнь могут быть переданы во власть запятой, падежа, двусмысленной частицы, подписи, сделанной без должной внимательности усталой рукой. Он понял, что там, где слово повреждено, правда становится беззащитной.

Из этих воспоминаний и мне теперь все яснее становится, почему великие догматические споры никогда не были лишь пустой борьбой слов. Простому человеку может показаться, что тонкие нюансы формул мало влияют на обыденную жизнь. Он видит перед собой хлеб, дом, болезни и смерти, и ему трудно поверить, что одна частица речи способна поколебать целый мир. Но право со всей беспощадностью демонстрирует это всякому внимательному уму. Судьба дома легко может зависеть от падежа, наследство — от связки, честь — от того, где писец поставил знак и как судья понял написанное. А в богословии цена слова еще выше, поскольку там речь идет уже не о поле или должности, а о самом Пути и способе спасения души. Если неверно понимать Христа, то может быть потерян и путь человека к Богу. Поэтому будущая строгость Севира родилась именно из ужаса перед распадом смысла.

Позднее, намного позднее, когда Севир будет защищать грамматику догмата с силой, казавшейся врагам чрезмерной, они станут видеть в нем лишь полемиста, горделивого упряма, человека сурового и неподатливого. Но в тот жаркий писидийский день внутри мальчика родился Страж Целого. Он понял: одна двусмысленная формула может разрушить правовое дело на суде; одна неточная формула о Христе способна разрушить исповедание спасения. Между юридической запятой и догматическим словом пролегла не пропасть, а одна и та же страшная дорога ответственности.

После этого уроки Евмения стали для него своего рода аскезой. Он уже не просто желал писать правильно и красиво, он хотел, чтобы слово было настолько чистым, что через него нельзя было подsunуть ложь. Он стал требовать от себя больше, чем требовал учитель. И иногда даже суровый Евмений, читая его упражнение, приподнимал бровь.

— Ты пишешь так, словно составляешь защиту перед бессмертными судьями.

— Разве хорошая речь должна быть иной?

Старик хрипло рассмеялся, словно закашлялся.

— Осторожно, Севир. Кто излишне серьезно относится к слову, однажды окажется среди богословов. А это люди, которые только портят риторику тем, что хотят спасти истину.

Отсрочка перед дверью

Севир тогда еще не был крещен.

Для постороннего христианина это могло бы показаться странным: над его рождением уже прозвучало пророчество, имя ему было дано по имени деда-епископа, и сама церковная память словно заранее отметила его для будущего служения. Но в доме Каллиста все было сложнее. Хотя отец Севира был сыном епископа, однако не стал наследником его веры. От старого Севира он принял разве что образованность и то невольное почтение, которое даже неверующий сын иногда сохраняет перед святым отцом. Но крещение собственного ребенка было бы для Каллиста признанием, что власть над будущим сына принадлежит уже не дому, не римскому воспитанию, не эллинской школе, а Церкви.

Каллист не запрещал говорить о деде. Он не мог и не стремился вычеркнуть его из семейной памяти, он понимал, что старый Севир был непомерно велик для этого дома. Но он старался отодвинуть его власть в прошлое. Пророчество, если о нем и вспоминали, оставалось для него чем-то принадлежащим старости, церковному жару и тем фантазиям, которые рассудительный человек не должен принимать как руководство для собственной семьи. Он хотел видеть в сыне прежде всего наследника образованного дома: юриста, ратора, человека города, способного говорить ясно и занять достойное место среди людей власти. Поэтому отец как бы оставлял сына в пространстве ожидания, надеясь, что время, книги, эллинские учителя и сама привычка к городской жизни сделают христианское пророчество менее властным.

Арета относилась к этому еще более настороженно. Для нее крещение сына было опасностью разрыва домашней ткани. Она чтит старых богов в обрядах, которые повторяются веками и потому кажутся надежнее всякого спора. Если Севир перейдет в иную веру, он уйдет не только от ее богов, он выйдет из того круга материнского благочестия, где дом защищают тихими возжиганиями, амулетами, древними именами и осторожными просьбами к невидимым покровителям. Потому она не спорила с пророчеством открыто, но опасалась его как силы, которая однажды отнимет у нее сына.

Дед же, хотя его рука уже не распоряжалась повседневной жизнью дома, оставался в ней как камень фундамента. Его имя было произнесено над ребенком, его видение передавалось шепотом, его епископское достоинство не позволяло свести христианство к чужому суеверию. В этом и состояла главная тяжесть положения Севира: родители удерживали его в эллинском мире, а дед звал к христианскому служению.

Поэтому некрещеность юного Севира была долгой неопределенностью между тремя властями: кровью семьи, свободой выбора и пророческим именем, которое терпеливо ждало своего часа.

По счастью, в Созополе существовал обычай, который позволял ему оттягивать решение. В Писидии говорили, что мужчина должен принимать крещение, лишь когда на лице его появится борода, знак зрелости и ответственности. До тех пор юноша мог оставаться как бы в преддверии, учиться, наблюдать, выбирать, слушать старших и ссылаться на обычай, если кто-то требовал от него ясного шага.

Севир охотно пользовался этим правилом.

Он читал Платона, Либания, Гомера, речи раторов, наслаждался свободой эллинского ума. Его пленяла точность диалога, стройность периода, светлая дерзость философии, способной спрашивать обо всем. В нем еще была сильна радость от свободы и неокончателности выбора. Он мог входить в христианские дома из уважения к деду, мог слушать разговоры о Церкви, мог спорить со Стефаном, своим другом детства, и затем возвращаться к Евмению, к Платону, к городской жизни, к прогулкам по форуму, к разговорам, где все еще дозволено.

В те годы дни Севира имели особую двойственность, свойственную юности, которая уже хотя и слышит зов будущего, но еще предпочитает шум настоящего. Утром он обычно сидел над восковыми табличками, выправляя период, пока Евмений не переставал морщиться; к полудню спорил с Илиодором о том, что полезнее человеку — хорошая должность или хорошая речь; вечером мог вместе со Стефаном пройти под колоннами, где нагретый камень отдавал дневное тепло, а город медленно переходил от торгового шума к вечерним разговорам. Они останавливались у лавок, слушали чужие споры, смеялись над самоуверенными учениками риториков, иногда состязались, кто точнее перескажет услышанную фразу и быстрее найдет в ней слабое место. В такие часы Севир казался свободным от тяжести своей судьбы. Он мог широко улыбаться, поддаваться юношеской гордости, радоваться удачно подобранному слову, тому, что мысль движется быстро и послушно, как хорошо обученный конь.

Но даже в этих легких прогулках его отличало от других какое-то внутреннее напряжение. Илиодор после удачной шутки сразу забывал ее, Стефан легко переходил от разговора о Христе к цене вина или к новому плащу знакомого юноши, а Севир продолжал мысленно разбирать сказанное, будто каждая фраза оставляла в нем след. Иногда он возвращался домой поздно, когда в окнах уже горели лампы, и заставал мать у внутреннего алтаря. Иногда отец звал его к себе, чтобы показать плохо составленное прошение и объяснить, как одна лишняя формула делает весь документ проигрышным. Иногда Силуан, встретив его в проходе, говорил почти беззвучно: «Помни имя». Так обычная жизнь не давала ему покоя. Она не отвлекала от будущего, а словно исподволь незаметно готовила его, властно проводя сквозь все бури и волнения человеческой жизни — к предуготованной судьбе.

Стефан был проще Севира, теплее, легче в движениях и словах. В нем не было той внутренней стянутости, которая делала Севира старше своих лет. Именно поэтому он мог говорить ему то, чего другие не решались. Он принадлежал к одной из тех христианских семей Созополя, которые уже давно вошли в городскую жизнь и потому не казались дому Каллиста ни чужими, ни вполне своими. Его отец служил при городских делах писцом и иногда бывал у Каллиста с документами, прошениями и спорными записями; через эти посещения мальчики рано узнали друг друга. Сначала они просто играли во внутреннем дворе, потом вместе учились первым буквам, слушали одних и тех же грамматиков, бегали к рынку и состязались в памяти, повторяя услышанные на форуме речи. Но там, где Севир рос между эллинским домом и христианской тенью деда, Стефан жил в вере открыто и спокойно. Его семья уже приняла крещение, ходила к церковным службам без тайного страха, чтит мучеников и говорила о Христе как о Господе дома, а не как о спорном имени чужой партии. Стефан рядом с Севиром выглядел гораздо свободнее, его одежда была проще, чаще помята после дороги или службы, и в этой простоте чувствовалась уверенность человека, которому не нужно каждый день доказывать себе собственный статус. Поэтому Стефан и мог подшучивать над Севиром с той свободой, какая бывает только у друга детства: он знал его гордость, его медлительность перед решением, его любовь к эллинским книгам и ту внутреннюю серьезность, которую сам Севир тщетно пытался скрывать.

Однажды они стояли на форуме. День клонился к вечеру, но камни еще хранили жар. Мимо них проходили торговцы, двое военных спорили возле лавки, мальчишки гоняли худую собаку, из портика доносился голос учителя, разбирающего с учениками какую-то речь. Стефан вдруг внимательно посмотрел на лицо Севира и улыбнулся.

— Ты все еще прячешься, Строгий.

— От кого?

— От Христа. За писидийским обычаем.

Севир нахмурился.

— Обычай существует не для того, чтобы над ним смеялись.

— Конечно. Особенно когда он удобен.

Стефан подошел ближе и указал пальцем на его гладкие щеки.

— Ждешь бороды, чтобы подольше поиграть в языческого философа? Осторожно. Когда она вырастет, тебе уже придется отвечать не Евмению.

— Ты говоришь как человек, который очень рано решил все главные вопросы.

— А ты говоришь как человек, который решил их давно, но предпочитает делать вид, что еще свободен.

Севир хотел ответить резко, но не нашел слов. Сильнее самой шутки раздражало то, что Стефан попал точно. Дело было уже не в бороде. Дело было в том, что пророчество деда, имя, уроки Евмения, суд отца, слова Силуана, христианская стойкость Стефана — все это медленно сходилась вокруг него. Он мог оттягивать принятие решения, мог ссылаться на обычай, мог наслаждаться Платоном и Либанием, мог вместе с братом Илиодором слушать рассказы о должностях и городских перспективах. Но отсрочка уже все меньше была свободой. Она постепенно становилась все сужающимся коридором, по которому он шел к заранее отмеченной двери.

В жизни почти каждого человека бывает такое пространство отсрочки, когда Истина уже коснулась его, но он еще пытается сохранить за собой право на промедление. Он читает, спорит, смеется, ссылается на обычай, на возраст, на обстоятельства, на недостающий знак. И даже если снаружи это может выглядеть как свобода, внутри она постепенно становится ожиданием суда. Для Севира борода была именно таким знаком. К его радости, волосы на лице росли медленно, не торопя его, но с их появлением растворялась возможность прятаться за возрастом. Словно само его тело начинало свидетельствовать против души, которая уже знала больше, чем была готова признать.

После того разговора он стал чаще смотреть в бронзовое зеркало.

Сначала на лице его были лишь тени, которые можно было принять за игру света. Однако постепенно над губой, на подбородке и вдоль челюсти начала все отчетливее темнеть первая щетина. Он ненавидел это наблюдать и все же наблюдал. Борода росла медленно, но неумолимо. Каждый новый темный волос казался ему ударом невидимых часов. Писидийский обычай, служивший щитом, все отчетливее превращался в свидетельство против него.

И в это же время заболел Каллист.

Болезнь отца изменила дом быстрее, сильнее и глубже, чем любые споры или мелкие проблемы. Человек, который столько лет поддерживал порядок из слов, бумаг, клиентов, слуг, обязанностей и семейных решений, вдруг сам оказался перед неумолимой властью тела. Вначале он старался не замечать болезни, сердился на слабость, требовал документы, продолжал давать указания, раздражался на врачей. Однако затем усталость все чаще оказывалась непреодолимой. Его голос потерял прежнюю твердость, он чаще молчал. Арета возжигала благоволения уже не так скрытно, как прежде. Христианские знакомые старого епископа приходили к дверям, хотя их и не всегда впускали. Илиодор ходил по дому с серьезным лицом, где скорбь уже смешивалась с расчетом будущего наследства и должностей.

Севир часами сидел у ложа отца и слушал его дыхание.

Каллист уже не говорил о христианах с насмешкой. Он вообще мало говорил о богах. В болезни всякая философия, не вошедшая глубоко в душу, быстро делается внешней. Однажды он подозвал сына ближе.

— Ты слишком строг, — сказал он тихо.

Севир невольно улыбнулся.

— Это мое имя.

— Имя не должно съесть человека.

— А закон?

Каллист долго смотрел на него усталыми глазами.

— Закон тоже ест тех, кто думает, будто владеет им.

Эти слова поразили Севира. Он привык видеть отца человеком формы, права, доказательства. Теперь тот говорил так, словно за формой открыл нечто куда более опасное и гораздо более глубокое. Может быть, именно болезнь впервые дала ему увидеть пределы того, чему он служил всю жизнь.

Проболев несколько недель, Каллист тихо умер, словно огонь его жизни просто постепенно угас.

Дом после смерти отца наполнился пустотой и деловитостью. Женщины плакали, слуги ходили тише, документы выносили и раскладывали, Илиодор говорил с нужными людьми, Арета сидела долго молча и без движения, словно в ней оборвалась нить, поддерживавшая привычный порядок. Севир же чувствовал, что вместе с отцом ушел и античный фундамент его детства, именно тот домашний мир, где все это казалось достаточным. И хотя эллинская мудрость, книги, язык и право все еще были почитаемы в доме, они словно потеряли свой фундамент, то основание, которое удерживало старый мир как целое.

Смерть отца не подорвала в Севире того, чему отец его научил, напротив, она освободила это наследие от домашней узости и передала его более высокому служению. Каллист привил сыну уважение к форме, к закону, к доказанному слову, к ответственности записи. Евмений научил его остроте языка. Арета подарила память о священном присутствии в доме. Античность вошла в него как дисциплина ума, как требовательность к речи, как способность видеть в слове не украшение, а несущую форму истины.

Но он все острее ощущал, что старый епископ дал юноше имя, обязывающее к служению, а вместе с ним - и тяжесть пророчества.

На двадцатом году жизни он снова встал перед бронзовым зеркалом.

Зеркало было старым, слегка потемневшим, и отражение в нем всегда казалось глубже и суровее живого лица. Он увидел себя уже не мальчиком и не юношей, который может укрыться в переходном возрасте. На лице его окрепла темная борода. Щеки, над которыми смеялся Стефан, исчезли. Взгляд стал тяжелее. Лоб — выше. Имя Severus сформировало подходящую для себя плоть.

Отсрочка закончилась.

И в этот миг, глядя на Севира из глубины моей нынешней памяти, я невольно вспомнил тот день, когда и для меня завершилась одна из отсрочек. Я был тогда уже не тем мальчиком, которого привезли в Фахан к камню святого Муры, но и еще не тем человеком, который позднее станет спорить с епископами и переводить греческих отцов во франкской земле. Фахан уже дал мне первые формы: латинскую букву, церковный час, тишину скриптория, холодный камень с греческой доксологией, строгие руки Коналла, умеющие править строку так, словно от нее зависит целый мир. Но однажды я понял, что берег Лох-Суилли уже не вмещает всего, что начало во мне расти. Книга, открытая на малом столе, звала к другим книгам; греческие буквы на камне требовали языка, которого Фахан уже не мог мне дать; сама память Патрика, стоявшая за Армой, притягивала меня как место, где частное ученичество должно войти в большой церковный строй.

Я помню свое утро перед уходом, когда двор Фахана был еще сыр от ночного дождя, над заливом лежал серый свет, и первый колокол только начинал собирать братьев к молитве. При мне было письмо аббата и короткая дощечка Коналла, где его ровной рукой были выведены слова обо мне, о моем чтении и о моей пригодности к дальнейшей школе. Эти малые свидетельства казались мне тогда тяжелее дорожного мешка. Через них я входил уже не просто в другую обитель, а в иной масштаб знания. Я шел в Арму, потому что ученость, оставшаяся в тесной ограде первой школы, легко становится только утешением, исчерпывая возможности выступать в качестве пути.

Так и Севир, стоя перед своим бронзовым зеркалом, понимал: Созополь воспитал его, но больше уже не мог удерживать. Город дал ему имя, дом, отца, риторы, суд, друга, первую сво-

боду и первое смущение перед Христом. Теперь все это должно было выйти на дорогу высокой пробы.

Он долго смотрел на себя. В глубине дома слышался голос Илиодора. Тот обсуждал с человеком отца какие-то бумаги. Жизнь могла бы пойти этим путем: наследство, должность, городское влияние, брак, умеренная верность старым привычкам, удобная терпимость к христианам ради памяти деда, карьера в мире, который уже менялся, но еще позволял умным людям устраиваться. Илиодор был создан для такого пути. Севир видел это ясно и без зависти.

В тот вечер он сказал брату, что оставляет ему наследственные дела и должности, насколько это возможно устроить без спора. Илиодор сперва решил, что ослышался. Потом стал убеждать его не делать резкого шага, подождать, подумать, обсудить с родственниками, принять часть имущества, сохранить влияние. Севир слушал спокойно, но в нем уже не было колебания, которое делало бы спор уместным.

— Ты хочешь стать христианским ритором? — спросил Илиодор с горькой усмешкой. — Или монахом? Или новым пророком деда?

— Я хочу найти истину, которой слово может служить без стыда.

Илиодор отвернулся.

— С такими фразами люди обычно теряют дом.

— Дом уже изменился.

С матерью прощание было труднее. Арета понимала больше, чем старалась показать. Она стояла у внутреннего алтаря, где еще недавно возжигала благовония своим богам и предкам. Теперь сосуды были убраны. Лишь слабый запах ладана и старых смол держался в воздухе.

— Ты уходишь к ним, — сказала она.

— Я еду в Александрию учиться.

— Не прячься за учебой, сын мой. Ты уходишь туда, куда звал тебя старик.

Она имела в виду деда.

Севир склонил голову.

— Возможно.

Арета подошла к нему и коснулась его бороды пальцами, как мать касается лица ребенка, которого уже нельзя удержать.

— Когда ты был мал, я боялась твоего имени. Думала, оно отнимет тебя у меня. Теперь вижу, что так оно и есть.

— Имя не отнимает, мать. Оно ведет.

— Это говорят те, кто уже согласился уйти.

Она не благословила его каким-то ритуальным жестом, а просто положила ладонь ему на грудь и задержала ее там на несколько мгновений. Но в этом ее прикосновении были все ее боги, вся ее любовь, весь страх матери перед Богом, Которого она не знала и которому уже уступала сына.

Через несколько дней Севир покинул Созополь.

Он отправлялся в путь с иной целью, чем городская карьера, хотя его ум легко мог привести его к высоким должностям. В отцовской школе он получил уважение к форме, к закону и точности доказанного слова. От эллинской мудрости он уносил свой дар: Платон и риторы уже выковали в нем остроту взгляда, способность различать оттенки смысла и требовательность к мысли. Он ехал искать ту истину, о которой голос сказал деду до его рождения. Путь в Александрию, обитель всей мудрости того мира, открывался перед ним как продолжение имени. Там, за морями и школами, его ждала новая борьба, которая уже началась в глубине его души: борьба за слово, которое было бы способно описать тайну самого Бога.

В скриптории Кьерзи воспоминание начало отступать.

Сначала исчез писидийский свет. Потом мрамор снова стал холодеть. Созополь, внутренний двор, лицо Силуана, темные глаза Ареты, твердый голос Каллиста, насмешка Стефана,

бронзовое зеркало — все это кануло в глубину времен, ушло туда, откуда явилось на время. Под моей рукой снова был лист пергамента, лежал греческий текст Дионисия. За окном стоял все тот же промозглый франкский туман. Капля на пере все еще держалась, готовая сорваться.

Я медленно выдохнул.

Теперь я понимал больше, чем в то мгновение, когда остановился перед словом Δόξα. Двадцать лет языческого Созополя были кузницей духа Севира. Там из мальчика с пророческим именем создали человека, который понял цену буквы и стоимость слова. Там право научило его, что недостаточно точная формула способна погубить даже самую очевидную правду. Там риторика дала ему скальпель понимания. Там дом двух миров научил его жить среди несовпадающих верностей. Там борода, выросшая на лице, стала знаком того, что время отсрочки завершено. Только такой человек мог позднее нести на себе всю колоссальную тяжесть догматического слова. Только тот, кто видел гибель правого дела из-за двусмысленности, мог однажды защищать единство Христа с яростью, которую поверхностные люди сочтут чрезмерной.

Я снова посмотрел на греческое слово.

Δόξα.

В Ирландии я коснулся его на камне святого Муры, не умея прочесть. В Созополе Севир был рожден под печатью имени, которое требовало строгого служения истине. В Кьерзи я должен был дать этому слову латинское тело.

В тот миг я почувствовал, что переводчик стоит между временами так же, как юный Севир стоял между домами своего детства. За одним словом тянутся города, школы, соборы, страхи, ошибки, молитвы, смерти и решения, давно сделанные другими людьми. И перевести — значит принять все это в одну строку и не разрушить. Греческое Δόξα оказалось для меня и вратами смыслов, и вратами времен. В нем звучал Фахан, где я впервые коснулся его рукой; Созополь, где родился тот, кому предстояло стать строгим хранителем формулы, говорившим об ангельском пении; и мой собственный холодный стол в Кьерзи, где латинская буква должна была стать мостом, а не заменой.

Я вздохнул и вывел: *Gloria*.

Чернила послушно легли на пергамент. В одном движении пера сошлись ирландский гранит, сирийское солнце, писидийский мрамор и франкский туман. И мне показалось, что ангельская песнь, о которой писал Севир, никогда не принадлежала одному лишь небу. Она ежеминутно проходит через камни, имена, суды, смерти отцов, бороды юношей, дороги к морю, монастырские кресты, дворцовые скриптории и через всякого человека, которому однажды было поручено не исказить слово.

Так началась для меня эта память.



Часть 2. Мать законов: блеск и нищета Берита (485-488)

Часть 2. Мать законов: блеск и нищета Берита(485-488)

Дорога в Александрию

Память о Севире приходила ко мне не единым потоком. Она раскрывалась постепенно, сцена за сценой, как открывается трудное греческое слово: сначала один знак, затем его тень, затем внутренний ход смысла, и только после этого — связный мир, который прежде оставался нераспознанным. В тот день, когда я закончил строки о славе, франкский холод снова вернулся в скрипторий. Огонек свечи дрогнул, будто в комнату вошел кто-то невидимый. За узким окном дворца Кьерзи все так же клубился туман, накрывая землю тяжелым серым покрывалом, и Уаза, должно быть, по обыкновению текла под ним так же медленно и беззвучно, как мысль, еще не решившаяся стать словом.

Я ненадолго отложил перо, растер пальцы и затем продолжил работу с греческим кодексом.

Передо мной лежал трактат «О Божественных именах». Я уже знал, что этот текст гораздо сложнее и многослойнее, чем обычное богословское рассуждение. В нем всякое имя Бога рассматривалось как ступень, и каждая такая ступень тут же превосходила ум, чтобы ум не принял путь за предел. Текст говорил о Благости, о Свете, о Красоте, о Бытии, о Жизни, о Премудрости. И в какой-то момент мое внимание остановилось на имени, которое сначала показалось мне более простым, земным, очень близким к судам и человеческим спорам.

Δικαιοσύνη - Правда. Справедливость. Правосудие.

Я долго смотрел на это слово. В нем не чувствовалось того мягкого сияния, которое я видел у слова «Δόξα», не было торжественного горения славы. Оно казалось тверже, однозначнее, словно сама мысль в нем опиралась на каменное основание. Δίκη у древних означало порядок, обычай, суд, надлежащее распределение. А потому *δικαιοσύνη* выражало и внешнее решение судьи, но вместе с тем и внутреннее состояние строя, при котором каждая вещь занимает свое место и знает свои границы. В тексте «Ареопагитик» это слово несло еще более высокий смысл. Божественная Справедливость — это понятие, которое гораздо шире, чем представление о наказании и воздаянии. Она означает тот несокрушимый порядок, в котором все сущее обретает бытие согласно своей природе, своему пределу, своей причине и своему возвращению к Источнику.

Я хорошо понимал тогда, что человеческое правосудие даже в своем высшем проявлении лишь отдаленно подражает этому небесному строю. Земной судья разбирает имущество, преступления, долги, наследство, границы и так далее. Он работает с тем, что уже изъято из всеенского единства человеческим произволом. Высшая же Справедливость предшествует всякой тяжбе. Она есть первоначальная мера вещей, благодаря которой звезда идет своим путем, ангел исполняет свой чин, камень пребывает в собственной тяжести, душа взыскует свободы, а слово должно быть верно тому, что оно берется назвать.

Я потянулся к латинской строке и вывел начало: *Iustitia*.

Но вдруг моя рука остановилась. Латинское слово не казалось подходящим. В нем не чувствовалась греческая глубина проявления, а словно была прописана римская власть формы. *Ius* — право, связь, установленный порядок, то, что удерживает людей от падения в грубую силу. *Iustitia* — это качество строя, в котором закон становится видимой уздой человеческой жизни. В греческом слове я слышал тайну внутреннего устройства космоса. В латинском же — только суд, город, должность, документ, ту линейную и однозначную формулу, которой нельзя пренебречь без ущерба для устоев общества.

И тогда я вдруг почувствовал, как именно это слово возвращает меня к тем городам учености, средоточиям знаний и обычаев, где Севир должен был пройти вторую школу своей души. В Созополе он получил свое обязывающее имя и первые очертания идущей из него внутренней строгости. Но в Александрии ему еще только предстояло увидеть, как слово может достигать сверхчеловеческой изошренности и при этом все равно оставаться голодным. А в Берите он должен был научиться тому, без чего позднейший богослов легко превратился бы в пламенного, но неглубокого спорщика: кристальной форме закона, несущей силе определения, власти четкого и верного различения.

Я смотрел на выведенное мною на пергаменте слово «*Iustitia*», но видел пред собою уже не франкский стол, а дорогу, которая спускалась от писидийских высот к морю. Сырость Кьерзи незаметно отступила, и даже пергамент словно высох под рукой. Воздух отчетливо сделался теплее, острее, полнее пыли и соли. Франкские стены расступились, и на их месте явились пристани, корабельные мачты, крики грузчиков, блеск воды, белые стены дальнего города и то тревожное чувство, с которым человек впервые входит в пространство, где так много разнородных умов, много языков, и очень много споров о разных богах и о едином Боге.

Я знал имя того города – Александрия, интеллектуальная столица старого мира. Севир прибыл туда уже сформировавшимся молодым патрицием. Его лицо уже покрывала густая борода, взгляд стал строже и приобрел ту сосредоточенность, которая появляется вместе с ощущением скоротечности жизни. Путь из Созополя совлек с него последние остатки домашней защищенности. За спиной остались двор Каллиста, шепот матери, насмешки Стефана, память о деде-епископе и та отсрочка от рискованных поступков и решений, которую он так долго называл молодостью. Теперь он вступал в город, где превыше знатности ценилась ученость, а превыше силы тела была сила ума.

Александрия встретила его многоголосым шумом.

Каждый великий город имеет собственный, выработанный веками, способ подавлять заявившегося в него пришельца. Рим давит тяжестью непререкаемой власти, Константинополь — блеском двора и бесконечными интригами империи, Антиохия — смешением остроумия, благочестия и страстей. Александрия же звучала оглушающим множеством голосов. Она не давала человеку сначала вообще даже воспринять себя как единое целое. Она словно со всех сторон сразу нападала на слух, зрение, обоняние, память. В порту наперебой кричали на греческом, коптском, сирийском, латинском, еврейском. Мокрые канаты темнели на камне. Рыба лежала в корзинах, серебристая, тяжелая, уже начинавшая пахнуть жаром. Из трюмов выносили тюки, амфоры, мешки с зерном, узкие ящики с дорогими тканями. Возле воды стояли темнокожие моряки, египетские лодочники, чиновники с табличками, монахи в грубых одеждах, студенты в плащах, женщины с закрытыми головами, торговцы, привыкшие обманывать и угадывать чужой кошелек с одного взгляда.

Над всем этим возвышался город, в котором древность, мудрость и слава жили уже отчасти как призрак, слишком прекрасный, чтобы просто раствориться в этом многоголосом гуле.

Севир шел по улицам и видел следы разных эпох, наложенные друг на друга с тем часто сбивающим с толку разнообразием, какой возможен только в великом старом городе. Здесь греческая колонна стояла возле христианской базилики, египетский знак — прятался в стене поздней постройки, а философские споры раздавались в двух шагах от купеческой брани. Городской камень хранил память Птолемеев, риторы все еще упоминали в качестве авторитетов имена Гомера и Демосфена, философы говорили об Аристотеле так, словно тот недавно вышел из школы и должен вот-вот вернуться к прению. Но вместе с тем в улицах уже чувствовался и новый дух: монахи из пустыни, толпы у церквей, память о пролитой во времена гонений крови, подозрение к тайным язычникам, ненависть к неправой формуле, тревога перед императорскими указами и патриаршими компромиссами.

Этот город понравился Севиру с первого взгляда, однако и почти сразу он начал его утомлять.

Так часто и бывает с душой, которая привыкла почитать четкость форм. Сперва ее пленяет богатство проявлений, она радуется множеству школ, лиц, речей, учителей, книг, споров. Ей кажется, что здесь наконец открылось настоящее царство великого ума. Однако скоро она замечает, что избыток может скрывать пустоту не хуже бедности. Мысли множатся, доводы становятся изящнее, память становится богаче, язык — острее, но люди, несущие их, все так же редко приближаются к истине. Гораздо чаще они только вырабатывают искусство убедительно обходить ее.

Через знакомых отца и людей, связанных с александрийскими школами, для Севира нашли комнаты в доме неподалеку от кварталов, где преподавали учителя эллинской словесности. Так жили многие приезжие юноши из состоятельных семей: снимали комнаты, держались рядом с земляками и соучениками, переходили от одного учителя к другому, постепенно входя в особую городскую среду школьных дружб, споров, книжных лавок и вечерних разговоров. Дни там проходили в занятиях, чтении, беседах, походах к грамматикам и риторам. Он быстро выделился, поскольку его уже не нужно было долго учить строить фразу. Он уже пришел с навыком точного слуха, и ему достаточно было один раз услышать чужой довод, чтобы понять, где его можно разомкнуть. В каждом слове он искал опору. Если слово было неточным, он чувствовал это до внутреннего озноба, как шип, вонзающийся в кожу. Если довод был слаб, он мог разрушить его спокойно и без видимой злости, что часто раздражало и других учеников, и учителей сильнее грубого нападения.

В первые же месяцы в одной из александрийских школ он впервые услышал речи Горатоллона. Тот был уже знаменит. Его почитали как выдающегося грамматика, человека редкой филологической памяти, знатока древних речений и египетских знаков. Внешне он держался как учитель словесности, и это был безопасный образ для человека, желавшего жить в городе, где прежняя вера все еще дышала, но уже не смела открыто занимать прежние площади. Однако в самом его облике чувствовалось нечто особое, некая возвышенность, которую Севир сразу заметил. Горатоллон говорил о буквах так, словно каждая буква была не только знаком речи, но и формой божественного проявления. Когда он разбирал древний стих, переходил к имени бога, затем к форме птицы, затем к очертанию священного предмета, и всякий раз его голос становился чуть ниже, словно он подходил к двери, которую нельзя было открывать при профанах.

Слушатели внимали ему с восхищением. Молодые язычники плохо скрывали свой восторг. Христиане же слушали более настороженно, однако тоже не могли оторваться. Севир, воспитанный в доме, где старые боги еще жили в материнской комнате, понимал это очарование глубже многих. В словах Горатоллона было то, что когда-то молчало в лампах Ареты, в ее благовониях, в малых фигурках богов и ларов, спрятанных от чужих глаз. Только теперь вместо традиций дома представляли учения, хотя и уже практически последним торжественным усилием старого мира объяснить самого себя перед исчезновением.

И все же Севир вышел с той лекции с тяжелым чувством. Красота речи Горатоллона была несомненна, ум — тонок, знания — огромны. Но за всем этим он ощутил усталость. Когда грамматик говорил о древних тайнах, было понятно, что он вынужден скрывать гораздо больше, чем бы того хотел. Его боги еще имели живые имена, атрибуты, истории, но в этих символах уже не чувствовалось власти над будущим. Они были прекрасны, как сосуды в доме, где хозяева умерли, а наследники еще не решились выбросить древнюю утварь. Севир понял тогда, что эллинская прелесть может пленить душу и вместе с тем оставить ее без твердого берега под ногами.

Теперь, вспоминая это его первое александрийское разочарование, я понимаю его лучше, чем хотел бы признать. Ибо и сам я был человеком, которого греческое слово не однажды

захватывало своей властью. Во Франкии, среди латинской сухости и грубоватой школьной пользы, греческая речь казалась мне возвращением к более высокой родине ума. В ней всякая мысль словно имела больше воздуха, всякое различие — больше глубины, всякое имя — более древнее сияние. Но именно потому она была опасна. Красота языка легко создает у человека впечатление того, что он уже приблизился к истине, хотя на деле лишь вошел в ее великолепный преддверный зал.

Севир в Александрии увидел это скорее, чем я во Франкии. Он еще ходил среди школ, среди голосов учителей, среди остатков эллинского великолепия, но уже чувствовал, что слово, не отданное Богу, принимается служить лишь собственной красоте. Оно способно сохранять древность, может поражать слух, может открывать целые царства образов, но в решающий час остается замкнутым в самом себе. И тогда язык, созданный для восхождения, оказывается лишь изящной оградой, мешающей душе выйти к бескрайнему Свету.

Я видел, как после той лекции он долго шел по улице один. Солнце уже клонилось к морю, и свет падал между домами косыми полосами. Из открытого окна доносился детский плач. Возле угла спорили двое монахов, один держал в руке свиток и бил им по ладони, словно свиток был оружием. У лавки сидел старик-египтянин и чистил гранат, аккуратно вынимая зерна в небольшую глиняную чашу. Мир продолжал жить своей обычной жизнью, не зная, что в душе молодого писидийца только что погасла одна из прежних надежд.

Предел эллинской мудрости

Именно в дни этого первого разочарования Севир услышал имя Стратоника.

О нем говорили редко и с какой-то неуверенностью, даже стыдливостью в голосе, как о сумасшедшем или блаженном мудреце. Он не принадлежал к числу тех учителей, вокруг которых собирались шумные ученики, честолюбивые юноши и люди, желавшие быстро приобрести славное имя в александрийских кругах. Когда-то, говорили, он был близок к философам, знал египетских жрецов, читал Гермеса и Платона, беседовал с христианами, спорил с гностиками, хранил старые записи о душах, звездах и невидимых мирах. Однако к старости он отошел от открытого преподавания. Его можно было встретить у книжных лавок, в тени портиков, в домах немногих друзей, еще помнящих о его мудрости.

Севира к нему как-то без серьезного намерения привел один из старших учащихся, человек любопытный и легкомысленный, любивший все необычное. Он сказал, что Стратоник говорит о таких вещах, о которых школьные философы считают недостойным упоминать, а церковные люди — молчат из страха. Севир сперва отнесся к этому холодно. После Гореполлона он уже очень хорошо чувствовал, как легко древняя красота прячет собственную дряхлость под видом тайны. Но само слово «тайна» продолжало будоражить его. Он все еще искал корня, того основания, из которого слово, закон, мысль и сама природа получают свою опору.

Стратоник жил в узком доме неподалеку от старого квартала, где греческая кладка давно смешалась с египетскими камнями. Во внутреннем дворе было полутемно даже днем. Пахло сухими травами, старым папирусом, маслом и горькими лекарствами. На стенах висели небольшие дощечки с геометрическими чертежами, звездными схемами, греческими буквами и египетскими знаками. Все это могло бы показаться театром тайной учености, если бы не сам хозяин.

Старик был так худ, что казался прозрачным, с большим лбом, впалыми щеками и глазами, подозрительно живыми для больного тела. Волосы его были редкими, почти белыми; борода топорщилась легкой седой тенью. Он носил простую светлую тунику и темный плащ без украшений. Руки его дрожали, когда он поднимал чашу с водой, но стоило ему коснуться свитка или чертежа, как дрожь исчезала. Тогда пальцы становились точными, словно старческая слабость отступала перед мыслью.

Он долго смотрел на Севира и не спрашивал ни о роде, ни об учителях.

— Ты из тех, кто сердится на красивое слово, когда за ним нет основания, — произнес он наконец.

Севир насторожился.

— Красивое слово часто лучше грубого.

— Только для слуха. Для души же оно бывает опаснее. Грубое слово быстро обнаруживает свою бедность. Красивое может годами держать человека в плену.

Так начались их беседы. Стратоник говорил странно. В его речи могли появиться София, Архонты, Гермес-Тот, Серапис, Платон, Моисей, евангельские слова, египетские символы, звездные сферы и бездонная первоматерия. В устах пустого собирателя такая смесь была бы одним только мусором старых школ. Но из уст Стратоника она звучала как странная система. Он словно пробовал разные языки, зная, что ни один из них не способен передать полноту тайн мироздания.

— Видимый мир, — говорил он, — лишь верхняя корка становления. За ним лежит океан возможностей. Одни называют его Хаосом, другие — бездной, третьи — тенью Софии, четвертые — областью душ. Я называю его пространством перехода. Там мысль еще не стала предметом, а вещь еще помнит, что на самом деле является лишь мыслью. Там желания полу-

чают облик, страхи строят себе жилища, боги дают имена, а миры рождаются из того, что нам кажется смутной возможностью.

Севир слушал напряженно. Часть сказанного отталкивала его: уж очень много опасных имен, много мутного наследия старых школ. И все же старик говорил о многослойности реальности так, как человек говорит о земле, по которой действительно некогда ходил.

— Если это так, — сказал однажды Севир, — человеческий разум слишком слаб, чтобы судить о мире.

— Слаб, когда мнит себя последним судьей. Силен, когда помнит, что судит по отражениям.

— А закон?

Стратоник посмотрел на него с интересом.

— Ты уже думаешь о законе?

— Я думаю о форме. Без формы все распадается.

— Верно. Но человеческий закон — лишь земная попытка подражать невидимой мере. Судья распределяет имущество, вину, долг, право, время. Над ним есть другой суд, где распределяются силы, причины, пути душ, рождения миров. Вы называете это судьбой, Промыслом, необходимостью, волей богов. Все эти имена бедны. Но они указывают вверх.

После таких разговоров Севир уходил встревоженным. После Гораполлона старый мир казался прекрасным и уставшим. После Стратоника он вдруг представлял глубоким и темным. В нем сохранялась память о безднах, которые христианин однажды должен будет назвать и рассудить, если захочет говорить о всей полноте мира.

Однажды старик сказал ему:

— Вот почему я захотел говорить с тобой, писидиец. Ты не тонешь в тумане. Ты режешь его.

— Туман нельзя резать.

— Можно, если рука держит не нож, а закон.

Стратоник засмеялся и закашлялся. Кашель длился долго. После него лицо старика стало серым.

Вскоре он исчез из привычных мест. Его уже не видели у книжных лавок и в тенистых портиках. Севир несколько раз заходил к нему, но дверь открывал слуга и говорил, что старик слаб, что жар поднялся снова, что ему трудно принимать людей.

А потом смерть ворвалась в самый ясный час дня.

Севир шел по Канопской улице, когда солнце стояло почти прямо над городом. Полдень был белым, слепящим, безжалостным. Мраморные колонны и портики казались начерченными в воздухе с такой точностью, словно сама Александрия хотела доказать, что все в ней подчинено мере, числу и человеческому порядку. Свет ложился на плиты широкими полосами. Тени от колонн падали ровно, отливая чернотой. Вокруг гудел город: кричали торговцы, стучали колеса, звенели упряжи, спорили носильщики, смеялись студенты, кто-то выкрикивал цену масла, кто-то бранился у лавки с тканями.

Севир шел быстрым, чеканным шагом. Он держал край плаща левой рукой, чтобы ткань не цеплялась за прохожих, и внутренне продолжал какой-то спор, начатый утром в школе. В этот миг сквозь толпу к нему стал пробиваться тот самый юноша, который когда-то привел его к Стратонику. Он был запыхавшийся, лицо покраснело от бега, волосы прилипли ко лбу. Он расталкивал прохожих, несколько раз оглянулся и наконец схватил Севира за рукав.

— Севир! Слава Богу, я нашел тебя... Там... твой старик из папирусов...

Севир остановился. Лицо его не изменилось, но вся осанка мгновенно стала жестче.

— Стратоник?

Юноша сглотнул.

— Умер. Женщина, которая носила ему воду, нашла его холодным. Врач сказал, что дыхания нет. Я подумал, ты должен знать.

Севир ничего не ответил. Только пальцы, державшие край плаща, сжались так сильно, что костяшки побелели. Вокруг по-прежнему шумела улица. Кто-то требовал дороги, повозка скрипела рядом, торговец продолжал выкрикивать цену фиников. И вся эта ясная, правильная, солнечная Александрия вдруг показалась ему непомерно грубой перед тем, что только что было сказано.

— Идем, — произнес он.

Они практически бежали.

Дом Стратоника встретил их тяжелой тишиной. За стенами еще гудел город, но здесь все звуки были отдалены. Скрипнули деревянные ставни. Где-то в глубине дома капнула вода. Занавесь у входа висела неподвижно, хотя с улицы тянуло жаром.

Севир рывком отодвинул ее и вошел.

Юноша остался у порога.

В комнате стоял полумрак. Окно было прикрыто тонкой тканью, и свет проходил внутрь узкими лучами. Пыль в этих лучах не кружилась беспорядочно, как обычно. Она словно вытянулась в тонкие светящиеся нити, и на одно мгновение Севиру показалось, будто сам воздух стал чертежом невидимого строя. В углу стояло жесткое деревянное ложе. Он ожидал увидеть тело, накрытое тканью.

Но ткань лежала на полу.

На краю ложа, скрестив босые ноги, совершенно прямо сидел Стратоник. Кожа его была так бледна, что казалась восковой. Грудь двигалась слабо, и дыхание угадывалось скорее по тени на ключицах, чем по настоящему вздоху. Но глаза были открыты широко. Они смотрели сквозь комнату, сквозь стену, сквозь сам полуденный свет Александрии. В них была ясность, от которой становилось страшно.

Юноша коротко вскрикнул, сорвавшись голосом.

— Господи помилуй... Он же был мертв. Я сам видел... Он не дышал. Демоны...

Он попятился, задел плечом занавесь, потом резко развернулся и выбежал. Его шаги быстро удалились по проходу и исчезли в городском шуме.

Севир остался один.

Он не отступил, хотя и в нем боролись страх, рассудок и та строгая часть души, которая отказывалась подчиняться ужасу прежде, чем даст ему имя.

— Стратоник, — сказал он хрипло. — Мне сказали, твое дыхание остановилось.

Старик медленно повернул голову. Движение было странно плавным, оно показалось отчасти текучим, словно он возвращался в тело издалека.

— Врачи Александрии знают, как замирает механизм тела, Севир, — произнес он.

Голос его изменился. Из него словно ушел прежний старческий скрип. Он стал глубже, глуше, будто говорил не один человек, а пустое пространство за ним.

— Но они не знают, куда уходит время, когда человек покидает счет часов.

Стратоник поднял иссохшую руку и провел ею сквозь луч света. Пылинки дрогнули, обогнули его пальцы и снова вытянулись в светящиеся линии. Быть может, Севиру только показалось это в напряжении часа. Но в тот миг ему вдруг стало ясно, что старик вернулся не из сна.

— Я прошел через Врата Запада, — сказал Стратоник. — Я видел перекресток, где души сбрасывают земные имена, как сухую шелуху. Там род, город, звание, спор, победа, обида — все падает с человека, и остается только то, чем он стал.

Севир молчал.

— Твой закон, Севир...

Старик посмотрел прямо на него, в глазах его мерцал свет, не похожий на отражение лампы или солнца.

— Там, в Эфирах, твой закон — только тень от крыла огромной, непостижимой Справедливости. Я видел Архитектуру. Видел силы, которые держат пределы, и силы, которые хотят превратить предел в темницу. Видел, как человеческая мысль обретает форму, если в ней достаточно желания, страха или веры. Видел миры, рожденные из того, что здесь кажется только воображением.

Он с трудом вдохнул.

— Садись, юноша. Мне нужно рассказать тебе, как устроена бездна, прежде чем она снова позовет меня.

Севир медленно опустился на низкий деревянный табурет. Его ясный, логический, воспитанный школой мир дал трещину.

Стратоник заговорил уже тише:

— Сначала была темнота. Но не пустота. Она была полна движения. Там каждая мысль становилась направлением, каждый страх — дверью, каждое желание — светом, за которым можно было пойти и заблудиться. Я видел области, где души сами ткут себе жилища из памяти. Видел города, рожденные тоской. Видел сияющие сферы, где формы еще не отделены от своих причин. Видел низшие слои, где все тяжелое в человеке становится средой вокруг него. Там нет одного пространства для всех. Там сам человек входит в ту область, которую уже носит внутри.

— И выше всего? — тихо спросил Севир.

Стратоник закрыл глаза.

— Выше всего была глубина, перед которой всякое имя становилось пеплом. Я хотел назвать ее Софией, потом Единым, потом Светом, потом Мраком. Все имена отпали. Осталось только то, чему нельзя приказывать явиться. То, перед чем даже высшие силы кажутся тенями. Если есть истинный Бог, юноша, Он там — за всеми нашими богами, законами, сферами и словами.

От нахлынувшего чувства внезапного узнавания Севир почувствовал холод в груди. Старик всю жизнь говорил языком смещения школ, но на краю своего опыта подошел к тому, что уже нельзя было передать и этим языком. В его рассказе было много опасного, неочищенного, такого, что будущий христианин должен будет подвергнуть строгому суду. Но одно было несомненно: видимая реальность не исчерпывает бытия, человеческая логика не властвует над последней глубиной, а закон без укоренения в Божественном оказывается пустой тенью, потерявшей связь с источником.

Стратоник умер через несколько дней. Уже окончательно, без возвращения.

Севир не говорил о нем часто. Он не принял учение старика как истину. Но память о нем осталась.

Теперь, вспоминая эту встречу из моего века, я вижу ее значение яснее. Стратоник не придал Севиру веры, он и не мог дать ее, поскольку стоял на границе старого мира и видел глубину через помутневшее стекло. Но иногда Промысл пользуется и такими свидетелями, чтобы подготовить душу к более чистому откровению. Из уст Стратоника Севир услышал, что реальность многослойна, что мысли и желания имеют бытийственную тяжесть, что за человеческими законами угадываются высшие меры, а за всяким именем пролегает глубина, перед которой имя должно умолкнуть.

Позднее Петр Ивер очистит это знание, поставит его перед Христом и введет Севира в Божественный Мрак. Позднее сам Севир отыщет язык, в котором иерархии, имена, силы и тьма станут уже христианским путем восхождения и очищения. Но первый отблеск этого понимания пришел к нему здесь, в Александрии, у ложа умирающего мудреца, который на последнем краю своих смешанных имен вдруг ясно показал, что высшее не принадлежит ни одному имени и не подчиняется ни одному человеческому закону.

Церковный суд

В эти же месяцы в александрийских школах учился Захария, которого позднее станут называть Ритором или Схоластиком. Он был из тех молодых христиан, для кого вера уже стала основой всей жизни, судом над словом, мыслью и будущей карьерой. Как и Севир, он пришел в Александрию за образованием, за греческой словесностью, за искусством речи, но в самой этой словесности искал прежде всего служения истине. Позднее именно он сохранит память о юности Севира и станет одним из первых свидетелей его обращения, но тогда они были еще просто двумя учащимися, которых александрийская школа свела раньше, чем они сами поняли значение этой встречи.

Захария уже несколько раз видел его в школах. В Александрии слух о способном ученике распространялся быстро: кто удачно ответил грамматику, кто смутил старшего соученика, кто принес из провинции неуместно гордую осанку и сумел оправдать ее не одним происхождением, а силой ума. Он был почти ровесником Севира, но в его лице уже была решенность, которая обычно приходит от ранней веры или ранней боли. Он не имел суровости пустычника. Напротив, в нем было много живости, южной горячности, способности быстро улыбаться и столь же быстро становиться серьезным. Его глаза смотрели прямо, иногда даже слишком прямо, как смотрят люди, которые считают истину делом не одного ума, но всей жизни. Севир тоже замечал этого юношу — живого, внимательного, так искренне открытого в своей вере. Они до сих пор не говорили по-настоящему, но уже знали друг друга тем школьным знанием, которое возникает раньше знакомства: по взглядам, по ответам, по тому, как человек слушает учителя и как молчит после трудной фразы.

В один из следующих дней, когда Севир после занятий снова шел один по вечерней улице, Захария наконец догнал его.

— Ты из Писидии? — спросил он.

— Из Созополя.

— Значит, ты и есть тот самый Севир, о котором столько говорят наши учителя.

Севир остановился и посмотрел на него чуть холоднее, чем того требовала вежливость.

— В Александрии, вижу, имена ходят быстрее людей.

Захария улыбнулся.

— И доводы тоже. О тебе говорят, что ты умеешь побеждать так, словно еще до спора уже превзошел противника.

— Это говорят те, кто плохо подготовился.

— Возможно. Я видел тебя после лекции Гораполлона. Ты вышел с лицом человека, который слышал чрезмерно много прекрасного, но при этом слишком мало истинного.

Севир не ответил сразу. Его раздражало, когда незнакомец подозрительно быстро подходил к скрываемым даже от самого себя мыслям. Но Захария не был просто дерзким школяром, он говорил без желания уколоть, а словно проверял, способен ли этот гордый юноша признать то, что уже сам почувствовал.

— Ты христианин? — спросил Севир.

— Да.

— Тогда для тебя все это заранее подозрительно.

— Нет, — сказал Захария. — Заранее подозрительным бывает только сердце, которое боится различать. Я люблю греческую речь. Я учусь у тех же учителей, что и ты. Я знаю цену хорошей фразе. Но слово, каким бы прекрасным оно ни было, должно куда-то вести. Когда оно долго кружит вокруг собственной красоты, оно становится ловушкой.

Севир чуть усмехнулся.

— Странно слышать такое от человека, который сам учится риторике.

— Потому и говорю. Риторика особенно опасна для тех, кто способен ею наслаждаться.

Они пошли рядом, хотя ни один не предложил другому продолжить путь. Так часто и начинается настоящая дружба между молодыми людьми, которым предстоит долго и напряженно спорить: их шаги уже согласуются, хотя слова еще сохраняют осторожность.

Захария говорил о христианах Александрии, о церквах, о патриархе Петре, о недавнем императорском указе Зенона, который называли Энотиконом, «указом единения». Этот указ должен был примирить тех, кто держался Халкидонского собора, и тех, кто видел в его формулах опасное разделение Христа. Но ради мира он обходил самые острые слова, и потому принес только новую тревогу: одни видели в нем мудрую осторожность, другие — начало измены православному вероисповеданию. Он говорил быстро, но не сбивчиво, в нем была заметна душа, уже прочно поставившая себя под суд веры. Севир же слушал сдержанно. Имя Петра Монга было ему уже известно. В Созополе о церковных делах говорили не особенно глубоко, но достаточно для того, чтобы понимать, что после Халкидона Восток не обрел мира. Одни держались соборного определения, другие видели в нем опасность разделения Христа, третьи искали императорского покоя, где острые края были прикрыты ради внешнего единства.

— Значит, ваш патриарх хочет мира, — сказал Севир.

— Он хочет удержать город.

— Это разные вещи?

Захария посмотрел на него внимательно.

— Иногда да.

Через несколько дней Захария уговорил его пойти к одной из больших церквей, где должен был появиться Петр Монг. Севир не стремился видеть патриарха, но Захария настаивал, что в Александрии богословие нельзя понять только по книгам и школьным словам. Его нужно услышать в толпе, возле дверей храма, среди людей, которые спорят о Христе так, словно речь идет о хлебе, крови и судьбе их собственных домов.

У входа в церковь Святого Марка, патриаршего храма Александрии, тогда собрались разные люди. Дома, лавки, стены, портики и узкие проходы подступали к святому месту почти вплотную, но перед церковной оградой улица расширялась в неровный открытый двор, где обычно останавливались паломники, просители, клирики и праздные слушатели городских споров. Несколько колонн давали тень у входа. За ними открывался предцерковный атрий, а глубже, за темным нартексом, стояла сама базилика — продольная, прохладная, с рядами колонн и апсидой, где епископская кафедра напоминала, что здесь говорит не частный учитель, а престол святого Марка. Перед храмом стояли монахи с лицами, похожими на закрытые свитки, женщины, пришедшие из бедных кварталов, важные горожане, студенты, клирики, несколько чиновников, стоявших чуть в стороне. Одни говорили о мире. Другие с надеждой в голосе упоминали слово «Энотикон». Третьи, наоборот, словно выплевывали его, как знак опасной уступки. Севир слушал эти голоса и удивлялся тому, как быстро внутренние споры церкви становятся дыханием улицы. То, что в школе кажется вопросом точного определения, здесь входило в страхи, преданность, память о мучениках, раздражение против императора, ожидание от патриарха и ненависть к тем, кто молится иначе.

Петр появился среди клириков с видом человека, привыкшего нести на себе все тяготы города. Он был уже немолод, хотя не казался дряхлым. В его лице чувствовалась усталость человека, давно привыкшего говорить среди вражды и слушать обвинения с обеих сторон. Лоб его был высок, кожа смугла и суха от александрийского солнца, борода коротко подстрижена и уже тронута сединой. Голос, когда он заговорил, оказался не совсем ровным: отдельные звуки словно цеплялись друг за друга, и в этом слышался тот телесный изъян, из-за которого враги называли его Монгом, Заикой. Но слабость речи не лишала его власти. Напротив, каждое слово выходило как бы через усилие, и потому толпа слушала внимательнее.

Одет он был в длинные светлые одежды, почти белые в резком дневном свете, поверх них — темный плащ, спадавший тяжелыми складками. Широкая белая полоса омофора, отмеченная крестами, охватывала его плечи и грудь; она делала его фигуру строже и выше, словно сама Церковь возлагала на него видимое бремя пастырства. В руке он держал простой посох. Рядом шли клирики, один нес книгу, другой отстранял чрезмерно теснившихся просителей. Петр двигался медленно, сдержанно, не оглядываясь по сторонам слишком часто, но и не теряя власти над толпой.

Толпа перед ним на мгновение уплотнилась, затем раздалась приветствия, шепот, отдельные возгласы. Кто-то просил благословения. Кто-то, наоборот, стоял с жестким лицом и молчал. Патриарх поднял руку, и в этом движении больше чувствовалась властность, чем пастырское благословение.

— Вот он, — шепотом произнес Захария. — Человек, который пытается удержать Александрию от разрыва.

— А истину? — спросил Севир.

Захария с удивлением и даже некоторым раздражением посмотрел на него. Вопрос был задан неуместно быстро, во многом даже жестко.

— Бывает час, когда пастырь считает, что удерживает истину, удерживая людей рядом с ней.

— А бывает час, когда люди остаются рядом, потому что истина определена слишком туманно.

Захария ничего не ответил.

Тем временем шум у входа в церковь словно осел вниз, к камню, и над людьми зависло ожидание. Петр Монг оглядел собравшихся и заговорил. Его голос, пусть и нечеткий, был громким и поставлен так, что слова проходили через двор и достигали даже тех, кто стоял у края толпы.

— Дети Церкви, — произнес он, — не всякое слово, сказанное о мире, есть слабость, и не всякая горячность, произнесенная во имя истины, рождается от Бога. Господь наш Иисус Христос не разделен. Он один и тот же, Сын Божий, пришедший ради нашего спасения, и потому не будем раздирать ризу Его спорами, в которых брат перестает узнавать брата. Отцы передали нам веру, император желает единения, Церковь молится о мире, а Александрия не должна становиться добычей гнева.

При этих словах одни перекрестились, другие обменялись быстрыми взглядами. Севир заметил, как старый монах возле колонны сжал губы, а какой-то чиновник, напротив, облегченно опустил плечи. Петр продолжал:

— Храните исповедание, которое принято от святых Отцов. Не ищите победы в словах, где требуется исцеление души. Кто любит Христа, тот не станет превращать Его имя в повод для ненависти. Кто чтит истину, тот сохранит мир Церкви, ибо мир не чужд истине, когда рождается из благоговения.

Он благословил народ. Несколько женщин приблизились, чтобы коснуться края его одежды. Клирики начали осторожно оттеснять толпу, открывая патриарху путь к храму. Но сказанное уже осталось висеть в воздухе, как дым ладана, в котором трудно было различить, где кончается благоухание и начинается удушливая тяжесть.

Севир стоял неподвижно. Речь была достойной. В ней не было грубой лжи, не было явного отступления, не было насмешки над верой. Но именно это и тревожило его. Патриарх сказал, что Христос не разделен, и это было истинно. Он говорил о мире Церкви, и это было необходимо. Он призвал хранить исповедание отцов, и против этого нечего было возразить. Однако самые острые слова так и не прозвучали. Там, где нужно было назвать границу, речь стала мягкой. Там, где следовало явно отделить мир от уступки, она оставила место для обоих смыслов.

Севир продолжал смотреть на удаляющегося патриарха. Он не выглядел гордецом, не казался трусом или мелким придворным приспособленцем. Напротив, в нем чувствовалась тяжесть ответственности и даже в чем-то трагическая усталость человека, который истощающе долго пытается сохранить единство в городе, разрываемом враждующими исповеданиями. Именно поэтому Севиру сделалось особенно тревожно. Если даже достойный пастырь может пытаться смягчать слово ради зыбкого мира, значит, опасность — не только в слабости, она может прийти и под личиной заботы, осторожности, стремления удержать всех внутри одной ограды.

С этого дня имя Петра Монга осталось в памяти Севира как раннее предупреждение. Он увидел, как церковная власть бывает искушаема страхом перед распадом, который иногда просит у истины вроде бы маленькой уступки, которую потом уже невозможно вернуть.

Когда я в Кьерзи вспоминал этот александрийский день, передо мной невольно вставали знакомые лица, уже из моего века. Франкские епископы тоже очень складно умели говорить о мире. Они словно смаковали слово «мир», произносили его с достоинством, с пастырской заботой, с памятью о народе, которому вредны распри. И формально они были правы: Церковь действительно не может жить огнем спора. Однако бывает такая осторожность, от которой истина постепенно теряет очертания. Сперва убирают острый край формулы ради слабых, а потом и сами перестают понимать, где именно он был. И тогда уже называют смутность мудростью, а точность — гордостью.

Но за этим стоял и еще один, более глубокий вопрос, который сопровождал и век Севира, и мой собственный век, а позднее, как я теперь смутно предчувствую, станет едва ли не главным вопросом западной мысли. Кто имеет право охранять истину — тот, кто держит меч, тот, кто сидит на кафедре, тот, кто поставлен над народом, или тот, кто верно произносит слово? Во времена Севира император имел власть издать указ о единении и тем самым словно придать церковной формуле силу закона. Восточный василевс входил в сам строй Церкви, собирал епископов, утверждал мир, карал непокорных, ссылали спорщиков, возвращал изгнанников, а иногда пытался самым царским словом удержать тайну Христову от распада. А потому догмат становился делом империи, а имперский мир начинал требовать от догмата послушания.

В моем веке франкский король, хотя и не писал христологических указов с той свободой, как восточные императоры, но и он желал, чтобы церковный порядок служил миру царства. Епископы, в свою очередь, говорили от имени Бога так, что королевская власть должна была прислушиваться. Римский престол все яснее напоминал Западу, что есть власть, не выводимая из королевской милости. Между короной, кафедрой и книгой все сильнее накапливалось напряжение. Я видел его при дворе Карла, слышал в голосе Хинкмара, чувствовал в осторожных письмах и резких богословских суждениях. Вопрос был один и тот же: способна ли власть охранять истину, не приписывая себе господства над ней? И способна ли Церковь принимать помощь власти, не отдавая ей право последнего слова?

Позднейшие люди, быть может, выразят это острее и четче, чем дано мне. Со временем они начнут говорить о полномочиях престола, о мере папской власти, о том, как духовное превосходит земное и как земное должно служить духовному. Но в самой глубине этот спор уже жил здесь, у входа в александрийский храм, когда патриарх говорил о мире, а за его словами стоял императорский указ. Севир еще не мог знать всех будущих следствий. Однако он уже чувствовал опасность: когда светская власть начинает утверждать истину ради порядка, она легко превращает вероучение в инструмент управления. А когда церковная власть принимает эту помощь без надлежащей внутренней дисциплины, она рискует сохранить внешнее единство ценой помутнения самого исповедания.

Петр Монг, конечно, не был мелким человеком. Но именно это делало его пример особенно тяжелым. Севир видел в нем не падение злого пастыря, а опасность доброго управления, в котором забота о целостности города начинает требовать от догмата мягкости, которой догмат

не может вместить без повреждения. Мне самому это знание далось слишком поздно. Я очень долго верил, что умный церковный порядок и истина естественно ищут друг друга. Жизнь научила меня, что порядок должен служить истине, иначе он очень скоро начинает требовать, чтобы истина служила ему.

Севир надолго запомнил комментарий Захарии. В нем прозвучало то различие, которое позднее станет для него судьбой. Мир может быть добродетелью, но может быть и прикрытием усталости. Он может быть плодом истины, а может быть ценой, уплаченной за отказ от точного слова. Александрия жила внутри этого напряжения каждый день, хотя сама часто скрывала его под криками улиц и торжественностью богослужений.

После того вечера Захария стал появляться рядом все чаще. Он не навязывался, но словно чего-то ждал. Иногда он шел вместе с Севиром после занятий. Иногда спорил с ним так горячо, что прохожие оборачивались. Иногда вдруг замолкал и становился похож на человека, слушающего внутренний голос. Севир сначала держал его на расстоянии, потом привык, затем начал ждать его с раздражением, которое уже было началом привязанности. Захария оказался для него тем редким собеседником, который не унижался перед его умом и не пытался подавить его благочестием. Он признавал силу Севира и потому требовал от него большего.

— Ты слишком строг, чтобы оставаться язычником, — сказал он однажды.

Севир рассмеялся.

— Станный довод. Отец сказал бы, что как раз язычники знают цену строю вещей.

— Твой отец знал цену закону. Но закон сам должен опираться на Высшего судию.

— Ты очень быстро переходишь от школы к церкви.

— А ты очень долго делаешь вид, что между ними нет связи.

Севир хотел ответить привычно остро. Он уже собрался было сказать, что христиане любят считать всякую дорогу ведущей исключительно к ним. Хотел вспомнить Гореполлона, Платона, Гомера, Либания, силу отцовской дисциплины, достоинство эллинской памяти. Но что-то внутри словно удержало его от этого словесного контрудара. В этом и заключалась опасность Захарии: рядом с ним казавшиеся правильными ответы вдруг обнаруживали свою вторичность.

В те же месяцы Севир несколько раз слушал Аммония, сына Гермия. Он был уже человеком зрелых лет, с лицом непроницаемым, сосредоточенным и почти неподвижным. Обычно он носил темный философский плащ, простой и тяжелый, без украшений, и казался человеком, для которого тело давно стало лишь необходимой опорой для живущей в нем мысли. Его седеющая борода была короткой, а высокий лоб, глубоко посаженные глаза и медленный поворот головы придавали вид судьи, взвешивающего идеи и понятия. Когда он молчал, вокруг него сохранялась такая тишина, словно ученики боялись нарушить ход рассуждения, еще не произнесенного вслух. Среди александрийских учителей он занимал особое место. Тогда, как Гореполлон хранил остатки древнего священного языка, грамматики учили владеть словом, риторики — направлять слух толпы, Аммоний в совершенстве владел самой лестницей понятий. Он говорил подчеркнуто спокойно, и именно эта спокойная линейность придавала его речи особую власть. За ней чувствовался человек, способный возводить мысль от частного к общему, от явления к причине, от причины к первому началу, пока ум уже не мог двигаться дальше без соблазна принять собственную высоту за истину.

Севир стоял среди слушателей и следил за ним с напряженным вниманием. Аммоний разбирал Аристотеля так, словно вскрывал тело рассуждения тонким ножом. Затем, почти незаметно, вводил платоновскую глубину, и сухая логика вдруг начинала сдвигаться в сторону мистического восхождения. Ученики внимали ему с благоговением, поскольку в их глазах философия еще сохраняла достоинство царского пути, на котором ум очищает себя от грубой чувственности, восходит по ступеням различений и достигает того, что выше изменчивого мира.

Севир очень хорошо понимал красоту этого восхождения ума. Она была верной, настоящей, но все же, слушая Аммония, он с каждым разом острее чувствовал, что в его рассуждениях есть свой предел. Философия могла довести ум до края, могла показать ему строй мира, могла заставить его презреть грубую случайность. Но перед живым Богом она останавливалась у порога и принималась говорить о высшем так, словно высшее обязано подчиниться благородной необходимости понятия. Севир еще не знал, какими словами выразит это позднее, но уже чувствовал: тайну Творца нельзя получить как итог правильно построенной лестницы, к ней нельзя подняться одной силой ума, даже самого очищенного и дисциплинированного.

После одной из таких лекций Захария сказал ему:

— Видишь, как высоко может подняться разум?

Севир ответил не сразу.

— Вижу.

— И чего ему недостает?

Севир посмотрел на колонны школьного двора, на лица учеников, еще возбужденные услышанным, на самого Аммония, окруженного почтительной тишиной.

— Судьи над самим собой, — произнес он наконец.

Захария кивнул. В тот день он не стал продолжать. Севир сам прекрасно понял сказанное.

Именно после этих занятий споры с учениками Аммония приобрели для него особую тяжесть. Это уже были споры не с одними тщеславными юношами, желавшими блеснуть в школе, за ними стояла горделивая самоуверенность александрийского ума, мнящего, что, коль мысль достаточно точна, она сможет описать даже Высшее начало в терминах собственных представлений.

Настоящее столкновение случилось вскоре, во время одного школьного спора. Тема была на первый взгляд совершенно невинной: можно ли назвать высшее начало познаваемым через порядок сотворенных вещей. Один из учеников Аммония, молодой человек с гладким голосом и артистически-красивым жестом руки, стал выстраивать доводы из аристотелевских различений. Он говорил о причинах, движениях, уме, совершенстве, о том, что высшее начало может быть помыслено как предел восхождения. Речь его была красива и стройна, и многие кивали. Севир слушал долго, опустив глаза, словно позволяя противнику самому завершить свою постройку. Потом поднял голову и начал отвечать.

Он говорил спокойно и негромко, избегая явной эмоциональности. Он взял одно определение, затем второе, затем показал, что в речи оппонента причина то мыслится как превышающая всякое определение, то вдруг уже становится частью того порядка, который должна была объяснять. Он разбивал довод за доводом спокойными указаниями, лишал их опоры один за другим. В комнате становилось все тише; даже те, кто не любил его, почувствовали удовольствие от точности интеллектуальных ударов. И когда Севир закончил, противник побледнел и попытался ответить, но ответ его уже казался лишним и напрасным.

Победа была полной.

Но именно в момент своего триумфа Севир вдруг ощутил душевную пустоту. Он видел лица слушателей, и в них восхищение, зависть, злорадство, ожидание нового удара. Посмотрел на Захарию, который глядел на него без радости. Увидел оппонента, униженного не тем, что истина стала яснее, а потому, что один ум оказался сильнее другого. И тогда его собственная победа вдруг показалась ему чем-то постыдным. Да, он доказал неточность, он показал слабость, он заставил аудиторию признать его превосходство. Но вопрос, ради которого все это началось, остался стоять где-то выше, нетронутый и позабытый. Что может человеческое слово перед Творцом? Где граница между доводом и поклонением? В какой миг ум, побеждая другого, сам оказывается повержен собственным тщеславием?

После спора он вышел во двор школы.

Александрийский вечер был теплым. В воздухе пахло высушенной землей и горячим щебнем, морем и маслом. За стеной кто-то смеялся. Где-то вдали звонил церковный колокол. Севир стоял под темнеющим небом и впервые ясно понял, что сама по себе логика, даже безупречно выстроенная, не способна спасти душу от пустоты. Она может очистить поле, может уничтожить ложный довод, может поставить противника на место. Но она не дает того живого огня, ради которого стоит жить и умереть.

Захария вышел вслед за ним.

Некоторое время они молчали, глядя под ноги.

— Ты победил, — сказал наконец Захария.

— Знаю.

— И поэтому тебе тяжело.

Севир медленно повернулся к нему.

— Ты всегда говоришь так, будто заранее записал мои мысли.

— Нет. Просто ты впервые услышал их сам.

На этот раз Севир не возразил. Он смотрел на небо над Александрией, где сумерки уже доедали остатки дневного света. Где-то в этом городе Горapolлон хранил последние ключи от мудрости старых богов, Аммоний учил умы восходить по ступеням понятий, Петр Монг пытался удержать церковный мир среди враждующих формул.

Рядом как живая совесть стоял Захария, еще такой молодой, такой настойчивый, но с уже практически неизбежным ответом. А сам Севир чувствовал, что Александрия преподнесла ему свой великий урок: слово, лишенное высшей верности, становится игрой силы.

В ту ночь он долго не спал. Из окна было видно немного: кусок стены, узкую линию неба, слабое движение света в соседнем доме. Но город не умолкал. Даже ночью Александрия продолжала говорить, спорить, торговать, молиться, скрывать, вспоминать. Севир лежал с открытыми глазами и понимал, что приехал сюда за мудростью, но получил лишь всепожирающее беспокойство.

И все же это беспокойство было нужнее прежней уверенности. Оно уже толкало его дальше — к Бериту, древнему Berytus, который в позднейшие века станут называть Бейрутом, городу, где его уму предстояло получить железную форму, прежде чем стать оружием веры.

Александрия удержала его недолго — немногим более года, до осени четырехста восьмидесяти шестого. Но за этот короткий срок она успела стать для него первой великой школой внутреннего смятения. Город дал ему блеск словесности, вкус философского спора, образ умирающей эллинской учености, тревожное прикосновение к церковной политике и первое настойчивое присутствие Захарии. Теперь всего этого было уже недостаточно.

Закон, форма и свет справедливости

Путь в Берит был естественным продолжением той дороги, которую Севиру проложили еще в доме Каллиста. Александрия дала ему высшую школу слова: слух, память, философскую выправку, умение держаться среди учителей и молодых людей, привыкших мерить друг друга силой речи. Но для юноши его происхождения одной словесности было мало. Да, она украшала ум, открывала перед ним древность, учила владеть доводом и фразой; однако настоящая служба империи требовала иного знания. После грамматиков, риторов и философов следовало идти туда, где слово уже ценится не столько по внешней красивости, сколько по способности быть выражением закона.

И хотя Каллист уже не мог направлять сына живым словом, его воля в судьбе юноши продолжала действовать сильнее многих распоряжений живых людей. Бывают отцы, которые после смерти оставляют не только имущество, связи и имя, но и заранее проложенную дорогу. Каллист вошел в дальнейшую жизнь Севира именно как непреклонная память о должности, суде, карьере, римском достоинстве и правильном месте человека в устроенном мире. Родственники, старшие, люди, ведавшие семейными делами, должны были заботиться о деньгах, письмах, спутниках и подробностях поездки, но общее направление было ясно всем: Севир должен был стать человеком права, человеком суда и канцелярии, возможно, будущим адвокатом при больших восточных властях. Для этого Александрии было недостаточно. Ее школы могли сделать юношу блестящим; Берит должен был сделать его нужным империи.

А еще за этой семейной расположенностью чувствовалось и еще одно влияние. Старый епископ Севир, дед, чье имя было дано младенцу по видению, ставил над всей этой светской подготовкой и свой знак. Ребенок, которому предстояло укрепить Православие, шел теперь туда, где учились защищать права, имущества, наследства и городские привилегии. Так что учеба, которая была исполнением отцовской воли, оказывалась и приготвлением к дедовскому пророчеству. Каллист хотел видеть сына служителем римского порядка; Промысл вел его к служению тому порядку, который выше империи. Потому Берит выступал не только как школа карьеры, но как и мастерская духа будущего исповедника.

Захария тоже собирался туда. Это еще крепче связывало их путь. Они уже спорили, уже знали характеры друг друга, уже чувствовали, что их дружба не завершится александрийскими улицами. Другие молодые люди также готовились к отъезду: кто-то ехал по семейному решению, кто-то ради будущей службы, кто-то ради славы школы, о которой говорили по всему Востоку. Снимались комнаты, переписывались рекомендательные письма, покупались нужные книги, договаривались о дороге и попутчиках. Александрия еще шумела вокруг них, но в разговорах все чаще появлялись латинские формулы, имена знаменитых наставников, слухи о беритских лекциях и особое волнение, связанное с переходом из царства красивого слова в область строгого закона.

Так память об Александрии осталась в Севире как великая школа беспокойства. Он увозил с собой шум порта, голос Гореполлона, холодную высоту Аммония, тревожную речь Петра Монга, настойчивое присутствие Захарии. И всему этому требовалась объединяющая форма.

Дорога из Александрии в Берит лежала вдоль моря. Сначала были обычные хлопоты отъезда: свертки с одеждой, книги, таблички, письма к людям беритской школы, деньги, переданные надежному спутнику, прощания у дома, где он прожил александрийские месяцы. Молодые люди, ехавшие учиться праву, старались держаться вместе. Так было безопаснее, дешевле и привычнее: один знал нужного корабельщика, другой имел письмо к человеку в Кесарии, третий уже слышал, где в Берите можно найти приличные комнаты.

Они вышли из Александрии через порт. Город еще шумел за спиной, но у воды к шуму города добавлялся голос портовой жизни: канаты скрипели, доски трапов глухо отзывались

под ногами, носильщики выкрикивали имена кораблей, в корзинах пахла рыба, на причале темнели амфоры и дорожные тюки.

Для них нашли место на торговом паруснике, который должен был идти вдоль восточного берега. Его настоящим делом был груз: амфоры, тюки, корзины, связки канатов, дорожные сундуки. Люди же были тоже частью этого груза, только более беспокойной и говорливой.

Севир стоял у борта и смотрел, как белые стены города медленно отступают, как уменьшаются колонны, крыши, мачты, как сама Александрия, еще недавно казавшаяся целым миром, становится линией света над морем.

Корабль шел поближе к побережью, останавливался там, где требовали ветер, торговля, вода и осторожность капитана. Иногда они видели только море и дальнюю полосу суши. Иногда входили в гавани, где были все те же крики грузчиков, те же запахи смолы, мокрого дерева, масла и пыли, те же чиновники с табличками, те же монахи, купцы, солдаты, путешественники. Постепенно после египетской равнины берег начинал меняться, становился каменистее, строже в линиях; города чаще стояли между морем и поднимающейся землей, а дороги уходили от пристаней к внутренним областям Палестины и Финикии.

Затем их путь шел сушей, они вместе с другими путниками присоединились к небольшим караванам, идущим по прибрежной дороге. Эта дорога была старше империи. По ней веками шли торговцы, солдаты, паломники, чиновники, беглецы, ученики, люди с письмами, товарами и поручениями. Она связывала Египет с Сирией и дальше с северными землями, и потому сама казалась длинной жилой, по которой текла жизнь восточного мира.

Севир внимательно запоминал эту смену берегов. В разговорах все чаще звучали имена, уже связанные с законом: Леонтий, к которому стремились попасть лучшие ученики, Амвлих, известный толкованием древних юристов, Евдоксий и Патрикий, чьи имена упоминали как часть славы самой школы; вместе с ними произносили латинские формулы, судачили о трудных занятиях, будущей службе, судах, канцеляриях и префектурах. Севир уже понимал, что этот переезд готовит его к овладению новыми вершинами формы, дисциплины и права.

После Александрии Берит сначала показался гораздо более сдержанным. В нем тоже был порт, тоже пахло морем, смолой, мокрым деревом, вином, рыбой и нагретым камнем; на пристанях также кричали грузчики, спорили торговцы, сходили на берег люди из разных земель. Но за этим обычным шумом приморского города чувствовался свой ритм жизни. Александрия жила в переизбытке голосов, школ, воспоминаний и страстей. Берит же отличался большей внутренней собранностью. Здесь слово должно было прежде всего связывать, устанавливать порядок, быть основанием решения.

И недаром этот город называли Матерью законов, *Legum Nutrix*, в нем действительно воспитывали тех, кому позднее предстояло быть основанием империи изнутри: адвокатов, судей, советников, чиновников, тех, чья рука способна кардинально поменять всю судьбу дома, города или целой области. Здесь юноша быстро понимал, что право — это не собрание запретов и дозволений, а особая архитектура мира людей. Пока эта архитектура стоит, слабый еще может апеллировать к форме, нуждающийся — к документу, обвиненный — к процедуре, город — к привилегии, церковь — к грамоте, а власть — к пределу собственного действия. Там же, где форма ослаблена, остается лишь право силы, которое с удовольствием может именовать себя справедливостью.

Севир почувствовал это очень быстро. В Александрии его часто утомлял блеск мысли, не находящей последней верности. В Берите же соблазн заключался в превознесении красоты точного построения. Его ум, с детства отмеченный именем Строгий, нашел здесь ту опору, которой ему так не хватало в других местах. Он мог часами разбирать одну юридическую формулу, как иной человек разбирал бы священный стих. Ему нравилось, что право требует тщательного подбора слов, что оно требует особенной точности изложения, а потому ум обязан подчиняться порядку, созданному многими поколениями людей, знавших цену ошибке.

В Берите Севир вошел в школу уже как подготовленный слушатель. Его происхождение, александрийская школа, письма от людей, связанных с домом Каллиста, и уже приобретенная слава блестящего ученика открывали ему двери быстрее, чем многим другим. Но в Матери законов всякого приезжего довольно быстро ставили на его настоящее место. Тот, кто знал только красивые фразы, оставался за пределами настоящих школ, а тот, кто недостаточно хорошо понимал латинские правила составления юридических текстов, быстро терял самоуверенность. Здесь ценили лишь тех, кто умел воспроизводить точные формулы, находить различия и не путал блеск речи с силой доказательств.

Первые недели Севир ходил по аудиториям, слушал разборы постановлений, переписывал трудные места, упражнялся в переводе латинских формул на привычный греческий ход мысли, спорил с товарищами после занятий и постепенно входил в порядок школы. Преподавание здесь не походило на александрийские беседы о слове и философии. Учитель брал текст — закон, ответ юриста, императорское постановление — и раскрывал его слой за слоем: сперва буквальный смысл, затем скрытое различие, затем возможный случай из жизни, где одна неверная оговорка меняла весь исход дела.

Когда я вспоминаю этот беритский период, во мне возникает странная улыбка. Севир тогда учился переводить римский закон с латыни на греческий ход мысли. Он брал жесткие латинские формулы, рожденные для суда и четкого определения, и переносил их в язык, приспособленный более для философских рассуждений, тонкости смысла, созерцательных ведений. Ему следовало сделать латинское право понятным греческому уму. Я же, спустя четыре столетия, сидел в Кьерзи и совершал обратное движение. Передо мной лежал греческий текст Севира, и я должен был переводить его на латинский язык франков, язык церковной школы и западного порядка. Севир переносил латинский закон в греческую мысль; я переносил греческую тайну в латинскую форму. В этом была своя тихая ирония Промысла. Со сменой веков изменилось направление перевода, но сама задача осталась прежней: сохранить точность смысла при переходе через границу языка. Теперь я понимаю: Берит учил Севира тому, что потребовалось и мне. Севир еще не знал, что это школьное упражнение однажды станет образом всей его судьбы. Ему предстояло перевести строгость закона в богословскую защиту тайны. Мне же сейчас необходимо переложить уже его скрытую греческую глубину в латинские обороты Запада.

Со временем учителем Севира стал Леонтий, муж к тому времени уже прославленный, суровый, чеканный в движениях и исполненный той власти, которую дают долгие годы господства над трудным предметом. В Берите его называли великим учителем, иные — и вовсе учителем Вселенной, οἰκουμηνικός διδάσκαλος (*oikoumenikos didaskalos*), ибо в его речи римский закон звучал так, словно обращался ко всему обитаемому миру. Он не любил показного красноречия. Ученик, пытавшийся украсить ответ чрезмерно удачным оборотом, быстро встречал его тяжелый взгляд. Леонтий ценил превыше не блеск фразы, а правильное положение каждого слова внутри целого утверждения.

Он казался человеком, который никогда не был молодым, в самой его осанке сквозила прочная сила устоев, дисциплины и точного суждения. Он был высок, сухощав, с лицом узким и строгим, словно долгие годы работы над законом убрали из него все лишнее. Волосы его уже заметно седели у висков, борода была аккуратно подстрижена, без философской небрежности, но и без вычурной придворной заботы о внешнем блеске. Взгляд его не бегал по ученикам, он останавливался на каждом ровно настолько, сколько требовалось, чтобы понять, способен ли тот удержать мысль или только повторяет заученное.

Одевался он просто, но в этой простоте чувствовалось свое достоинство. Темная туника, аккуратно подпоясанная, плотный плащ, перекинутый через плечо, чистые сандалии, таблички и свитки, которые он держал как атрибуты правосудия. В его руках всякая вещь становилась

частью строгого порядка: восковая табличка, костяной стилос, даже короткое движение пальцев, которым он останавливал поспешный ответ ученика.

Говорил Леонтий негромко и почти без жестов, он не любил тех учителей, которые достигают власти над аудиторией голосом, походкой и театральными паузами. Когда он начинал разбирать текст, шум в комнате стихал будто бы сам собой. Он читал латинскую формулу медленно, затем переводил ее ход мысли на греческий, потом возвращал учеников обратно к латыни, словно показывая, что право нуждается в понимании на разных языках.

Севир сразу почувствовал в нем человека, с которым нет смысла спорить; Леонтий не подавлял ученика, но ставил его лицом к лицу с текстом так, что всякая неподкрепленная самоуверенность быстро становилась заметна. У него не было потребности унижать слабого, ему было достаточно дать договорить до конца, и когда после этого он задавал всего один вопрос, вся красивая постройка рассыпалась сама. Именно поэтому лучшие ученики боялись его больше, чем крикливых наставников: он не гневался на ошибку, он делал ее очевидной для всех.

Леонтий заметил Севира не сразу, но довольно скоро. На одном из занятий учеников попросили разобрать спор о наследстве, где завещание было составлено так, что обе стороны могли ссылаться на одну и ту же фразу. Несколько юношей стали украшать ответ рассуждениями о справедливости, воле умершего и достоинстве семьи. Севир же начал с соотношения слов, с возможности трактовки предложений, с того, к чему относится оговорка, где заканчивается главное утверждение и где начинается условие. Он говорил спокойно, чеканно, и под его влиянием постепенно вся тяжба приобрела определенное направление. То, что казалось проблемой чувств и родовых прав, стало выглядеть вопросом точного отношения частей фразы.

Леонтий, слушавший до того неподвижно, поднял глаза.

— Кто учил тебя так держаться за слово? — спросил он.

Севир ответил:

— Сперва отец. Затем Александрия научила меня не доверять красивому слову без анализа.

Леонтий едва заметно усмехнулся.

— Значит, здесь мы научим тебя доверять слову только тогда, когда оно уже прошло через проверку формы и места.

С этого дня Севира стали чаще вызывать к трудным разборам. Он вошел в тот ближний круг учеников, к которым Леонтий обращался для настоящего воспитания ума. Так великий учитель постепенно стал для него главным наставником, дав то высокое признание, которое в Берите причиталось только способностям.

— Помни, Севир, — сказал он однажды, разбирая с ним неоднозначное предложение из императорских постановлений, — закон страдает не тогда, когда его открыто нарушают, поскольку открытое нарушение можно обличить и судить. Закон гибнет тогда, когда в него закрадываются разночтения. Одно неверно поставленное слово, одна сомнительная оговорка — и уже правый теряет опору, виновный получает преимущество, а судья может решать не по праву, а по собственному настроению.

Севир слушал его даже с большим вниманием, чем лучших грамматиков Александрии. Леонтий дал ему чувство важности структуры как служения. Он показал, что кажущаяся строгость может на самом деле быть милостью, когда она защищает слабого от произвола сильного; что точность определений должна быть актом любви к истине, а порядок является земной тенью Божественной Справедливости.

Здесь, думаю, сформировалось больше, чем мог понять сам Севир в годы ученичества. Многие полагают, что великий богослов рождается прежде всего из молитвы, чтения Писания и споров с ересями. Это, конечно, верно, однако не исчерпывает всех факторов пути. Есть у богословской мысли еще одна важная школа — искусство верной речи. Тот, кто не умеет

чувствовать предел каждого слова, рано или поздно начинает говорить о Боге как о чем-то познаваемом. А потому даже благочестивое чувство, если оно не прошло школу точности, способно исказить понимание святости.

Я сам понял это особенно ясно, переводя Корпус Ареопагитикум. Греческая структура мышления не терпела приблизительности. В тексте каждое слово стояло в своем ряду, и всякое предложение восходило к высшей причине, понимание которой требовало чистоты ума. Переводчик, позволивший себе легкомысленное переложение ради красоты латинской фразы, не просто изменял смысл, он нарушал само восхождение мысли. Поэтому, когда я вспоминал жизнь Севира в Берите, я узнавал в его усилиях по разбору юридических актов будущую линию его богословия. И даже тогда, когда он учился законам людей, он уже возвращал в себе ту дисциплину, без которой невозможно защищать тайну Бога.

Скоро Севир стал одним из лучших учеников школы. Он легко выстраивал длинные ряды постановлений, быстро находил скрытые противоречия в рассуждениях, умел отличить верное утверждение от словесной ловкости. Его уважали, ему завидовали, его начали бояться. В спорах он был уже не тем александрийским ритором, который мог разрушить чужую мысль ради победы в диспуте. Он научился владеть словом как инструментом, созданным для точного действия. В нем постепенно вырастал будущий полемист, еще сам не знавший, ради какой высшей тяжбы ему потребуется это искусство.

При этом жизнь вокруг него оставалась светской и вполне земной. Берит был городом богатых студентов, будущих сановников и молодых людей, уверенных, что империя уже приготовила для них достойные места. Вечерами они ходили в театры, в бани, на обеды, где за вином обсуждали учителей, должности, семейные связи, слухи из Антиохии, Константинополя и Александрии. Там смеялись над провинциальной неловкостью одних, восхищались столичной легкостью других, спорили о риториках, актерах, красавицах и будущих назначениях. Севир не сторонился всего этого. Он был молод, знатен, умен и знаменит. Он любил носить хорошую одежду, умел говорить так, чтобы его слушали, умел пользоваться уважением, которое приходит к человеку прежде должности, когда окружающие уже видят силу его ума.

Иногда в такие вечера ему вспоминался Илиодор. Старший брат, с его солнечным именем и легкой любовью к устроенной жизни, полюбил бы этот город. Он радовался бы баням, разговорам, благовониям, хитрым шуткам студентов, дорогим плащам, пересудам о карьере и близости имперской власти. Севир также мог наслаждаться городом, однако город не был ему внутренне близок. Даже среди пира какая-то часть его оставалась настороже. Имя, данное до рождения, дедовское пророчество, александрийская пустота после победы — все это лишь временно отступало перед сиянием великой школы, где его ум наконец обрел свою железную форму.

Однако уже к концу первого года жизни в Берите, в момент роста своей светской славы, Севир встретил человека, поколебавшего строй этой уверенности. Его звали Евагрий. Это был один из учащихся беритской школы, немного старше Севира, лет двадцати семи или около того, но по внутренней собранности казавшийся человеком гораздо большего возраста. Говорили, что он — выходец из сирийских земель, из семьи, связанной с церковными кругами Востока. Сам он почти не касался этого в разговорах, словно не хотел определять себя по роду, городу и семейному положению. Он тоже изучал право, сидел на тех же занятиях, слушал тех же учителей, разбирал те же постановления и формулы. По способностям он превосходил многих, хотя совсем не стремился к первенству.

Но в его жизни было нечто, что раздражало и смущало студентов сильнее всякого ученого тщеславия: он жил так, словно посреди богатого портового города уже находился в преддверии пустыни. Евагрий ел мало, говорил сдержанно, избегал вечерних развлечений, не участвовал в легких спорах о будущих должностях, не любил смеха, который унижает отсутствующего. Комната его была по-своему аскетична: несколько книг, лампа, грубое ложе, сосуд с водой,

простая одежда, тщательно сложенные юридические записи — вот и все, что находилось в ней. Поначалу Севир относился к нему с настороженным уважением. Аскеза в молодом человеке часто бывает или позой, или скрытой гордостью. Но в Евагрии не чувствовалось игры. Он не выставлял строгость своей жизни напоказ, а словно просто не находил нужды в том, что для других составляло естественную ткань молодости.

Однажды вечером Севир возвращался поздно. В городе уже стихал дневной шум, только издалека доносился глухой рокот порта. В театре тогда давали пьесу, которую студенты потом шумно обсуждали по дороге, перебивая друг друга, вспоминая жесты актеров и удачные реплики. Севир смеялся вместе с ними, хотя уже утомился от этого смеха. Расставшись с товарищами, он поднялся по лестнице к помещениям, где жили учащиеся, и увидел под дверью Евагрия узкую полоску света.

Сам не понимая, зачем, скорее из внезапного раздражения перед этим постоянным чужим бодрствованием, Севир постучал и вошел. Евагрий сидел у лампы и читал. Лицо его казалось почти неподвижным. Свет лежал на его лбу, на странице, на пальцах, державших свиток. Рядом, аккуратно отложенные, лежали записи по праву. Но читал он не их.

— Ты снова не был с нами, — сказал Севир.

— Был там, где должен был быть.

— В комнате?

— Перед текстом, который дает больше, чем зрелище.

Севир подошел ближе и посмотрел на свиток.

— Опять святые книги?

— Письма Василия. И несколько поучений Григория.

Севир слегка усмехнулся.

— Ты странно распоряжаешься временем. Днем мы разбираем императорские постановления, ночью ты уходишь к епископам и монахам. Какой смысл изучать право, если душа твоя уже выбрала иной путь?

Евагрий наконец поднял глаза.

— Какой смысл изучать право, если ты боишься спросить, кому оно должно служить?

Он произнес это спокойно, без вызова, и тем самым задел сильнее. Севир уже хотел было резко возразить, но Евагрий уже протянул ему свиток.

— Прочти. Хотя бы как ритор, если иначе не можешь. Посмотри на строй фраз, на подбор слов, на чистоту мысли. А потом попробуй услышать, ради чего эта сила дана.

Севир взял свиток без особой охоты. Ему казалось унижительным принять духовное наставление от сокурсника, пусть даже умного и достойного. Но имя Василия он знал. Каппадокийцы давно уже принадлежали тому кругу христианских авторов, которых даже образованные язычники и колеблющиеся люди не могли просто отместить как невежественных спорщиков. В них была школа, был безупречный язык, была та греческая мощь, которую нельзя было списать на одну церковную ревность.

Он начал читать, и сначала его действительно занимала форма. Речь Василия и правда была безукоризненна, выстроена ладно и точно, но ее стройность служила внутреннему огню. Он умел излагать четко, но без занудства, высоко, но без тумана, по-пастырски, но без сентиментальности. В его словах Севир почувствовал ту силу, которой не нашел у поздних хранителей эллинских символов. Здесь высокий греческий язык не умирал в красоте воспоминаний, он был обращен, очищен, поставлен на службу преображению человека. В нем сохранялась вся тысячелетняя выучка древнего ума, но этот ум уже стоял перед Христом.

Потом Севир перешел к Григорию Богослову. И тут в нем дрогнуло нечто более глубокое. Григорий говорил о тайне Божества так, что точность не разрушала благоговения, а благоговение не отменяло точности. Его слово поднималось высоко и тут же сдерживало себя, поскольку знало предел, где человеческий язык должен склониться. В речах Григория Севир

почувствовал, что богословская речь может быть точнее юриспруденции и глубже философии. Она не просто расставляла понятия, она берегла Самого Христа от недопонимания в человеческом слове.

В этом воспоминании для меня особенно ясно стала понятна тайная преемственность греческого мира: эллинская речь не погибла, когда перестала служить старым богам, она прошла через огонь Креста и стала служить Божественному Мраку. У Василия и Григория Севир увидел не отвержение древней школы, а ее перерождение, трансформацию. Тот же язык, который у философов искал первое начало, у отцов Церкви склонялся перед Лицом Живого Бога. Та же точность, которая прежде различала сущность, причину и образ, теперь защищала таинство Троицы и воплощения. Та же красота, которой язычники почитали память о старом мире, теперь стала сосудом благодати.

И я, много веков спустя, когда в моих руках лежали книги Дионисия и Максима, переживал нечто родственное. Мне казалось, что греческая мысль не оборвалась, а была призвана к более высокому служению. Она утратила право царствовать сама по себе, зато обрела возможность стать лестницей, ведущей выше человеческой природы. Севир начал понимать это в Берите, читая при слабом свете лампы. Греческое слово уже не звало его назад, к храмам Горополлона и рассуждениям Аммония. Оно звало вперед — к Христу, ради Которого всякая красота должна сочетаться с точностью, а всякая точность — с поклонением.

В следующие дни он возвращался к этим текстам снова и снова. Сначала тайно, будто не желая признаваться самому себе в растущем интересе, потом все более открыто. Евагрий ничего не торопил, а Захария, узнав об этом, только посмотрел на Севира с такой радостью, которую тот счел даже отчасти обидной. Стефан, также появившийся в те месяцы в Берите, понял происходящее по-своему. Он не был богословом, не умел разбирать тонкости хитросплетений греческой философии и не имел той страстной интеллектуальной зоркости, какая была у Захарии. Но он знал Севира с детства, знал его молчание, его гордость, его привычку долго откладывать то, что уже решено внутри. И потому однажды, оставшись с ним наедине, Стефан сказал Севиру:

— В Созополе ты всегда сердился, когда тебя называли твоим именем излишне серьезно. Теперь же оно постепенно берет власть над тобой.

Севир ничего не ответил. Но слова Стефана отозвались в нем, заняв место рядом с письмами Василия и Григория.

Постепенно в нем стал пробуждаться тот внутренний страж, который впервые обозначился еще в детстве, когда он слушал Силуана и пытался понять, почему имя может быть повелением. В Берите этот страж обрел свое оружие - четкость речи и ума. Каппадокийцы дали ему святыню, которую нужно охранять. И день ото дня Севир все яснее видел: там, где неверное слово о Христе способно повредить самой жизни верующих, нужна особая точность. И там, где юрист защищает имущество, честь и права, богослов должен хранить неизреченную полноту Богочеловека, защищая ее от политических удобств и самоуверенной логики.

Особенно долго и напряженно он размышлял о справедливости. До приезда в Берит это понятие связывалось для него с законом, судом, восстановлением нарушенного порядка. Теперь же, читая Василия, он начал понимать, что Справедливость Божия возвращает природу к ее предназначенной цельности. Она не дает творению распасться в собственном произволе. В этом свете даже будущий спор о Христе уже смутно представал перед ним как дело высшей правды.

Однажды ночью он отложил свиток и долго сидел в темноте. Лампа почти догорела. За окном еще слышались звуки города, где-то хлопнула дверь, где-то прошел поздний прохожий, внизу коротко рассмеялись и замолчали. На столе рядом лежали юридические записи Леонтия и письма Святых Отцов. Севир посмотрел на это сочетание и понял, что его жизнь уже не сможет вернуться к прежним простым действиям. Право, эллинская речь, александрийское

беспокойство соединялись вместе, и из этого союза рождался ум, способный видеть выше и шире человеческого мира и человеческих умений.

К четыреста восемьдесят восьмому году все отсрочки, за которые Севир пытался держаться, исчерпали себя. Он уже не мог ссылаться ни на молодость, ни на учебу, ни на память отцовской воли, ни на писидийский обычай, требовавший от зрелого мужчины видимого достоинства. Борода его окрепла, стала густой и жесткой. Лицо утратило последние следы юношеской неопределенности. В зеркале он видел уже взрослого мужа, которому собственное имя предъявило полный счет. Захария больше не спорил с ним так часто. Евагрий не убеждал. Стефан не шутил. Все трое словно понимали, что чужие слова здесь уже совершили все, что могли.

И вскоре решение, принятое уже давно в глубине души, наконец созрело для ясного проявления. Севир больше не хотел оставаться человеком, который стоит у порога веры, спорит о Христе, читает отцов, ходит с христианами, но сам еще не вошел в купель. В важнейшие часы человек часто говорит меньше, чем в будничном споре. Севир объявил, что едет в Триполи, и друзья поняли, зачем.

Он выбрал Триполи потому, что это решение требовало некоторого отдаления от школьного шума, от товарищеских разговоров, от глаз тех, кто знал Севира прежде всего как блистательного ученика права. В Триполи, в церкви святого Леонтия, он мог принять крещение как человек, пришедший к Богу в кругу ближайших свидетелей.

Дорога туда шла так, что море постоянно присутствовало рядом, то открываясь широким блеском, то исчезая за строениями, садами и каменными склонами. Путь был не очень долгим, но для Севира он тянулся как переход через собственную прежнюю жизнь, и все бывшие голоса словно вставали по сторонам дороги.

В Триполи было светло. Город у моря жил своим обычным ритмом: лавки открывались, люди несли воду, в переулках тянуло свежей горечью моря, смолеными лодками и чистым, словно вымытым ветром камнем. Но для Севира все это было уже отдалено, все внешние звуки и образы казались ему словно незначимыми, прозрачными. Церковь святого Леонтия встретила их глухими белыми стенами, начисто отсекавшими портовый шум от внутренней тишины. В ней доминировал массив грубого камня, похожий на непреложный закон. И именно эта сдержанность была ему нужна. Он не хотел ни зрелищ, ни победы, ни торжества над прежним собой. Он шел к купели словно к суду, который давно признал неизбежным и справедливым.

Перед входом Севир на мгновение остановился. Захария шел рядом, лицо его было серьезным и бледным от волнения. Немного позади, опустив глаза, держался Евагрий, который словно боялся помешать происходящему даже взглядом. Стефан смотрел прямо на Севира, и в этом взгляде было все Созопольское детство: узкие улицы, отчий двор, разговоры и споры, юношеские отсрочки, первая дружба, еще не знавшая, к какой судьбе ведет.

— Теперь уже нельзя будет сказать, что ты ждешь удобного часа, — тихо произнес Стефан.

Севир повернулся к нему.

— Удобного часа никогда и не было.

Стефан кивнул.

Перед тем как войти, Севир опустил взгляд на свои руки. Они были пусты. Это вдруг поразило его сильнее, чем все слова, сказанные в дороге. Сейчас у него не было ничего. Ни книги, ни записи, ни юридической формулы, ни довода, приготовленного заранее. Он стоял перед дверью церкви без защиты и своего происхождения, и собственного искусства.

В эту короткую минуту он вспомнил лица родителей. Каллист, прямой, строгий, верящий в закон, должность и видимое достоинство. Арета, склоненная над малой лампой, хранящая память о старых покровителях дома. Потом — старый Севир, дед-епископ, которого он почти не знал живым, но чье видение все эти годы словно шло впереди него. Потом Силуан, шепчущий о Гласе. Потом Горapolлон с красотой умирающих знаков, Аммоний с лестницей поня-

тий, Леонтий с властью закона, Евагрий с лампой над письмами Василия, Захария с беспощадной дружбой, Стефан с простой верностью дома — все они теперь словно стояли за его спиной.

Севир понял, что крещение не отнимает у него прошлого. Оно судит его, очищает и ставит на место. Ничто из прожитого не должно было быть отброшено как случайная ошибка, языческий дом родителей, александрийская прелесть, даже беритская гордость формы, светские вечера и честолюбивые мечты о карьере — все это было сырьем, из которого Промысл долго готовил человека к одному решению.

Мне кажется, именно в этом и заключается один из самых трудных моментов обращения. Человек редко приходит ко Христу пустым. Обычно он приносит с собой дом, свои страхи и ошибки, любимые книги, старые привязанности, даже те заблуждения, которые когда-то помогли ему искать. Благодать же отделяет живое от мертвого, очищает память от идолов, возвращает дарам их законное назначение. Потому обращение Севира было судом над всем полученным, после которого все обретенное должно было или умереть, или стать служением.

Так и я, уже старым человеком, понимал собственный путь. Ирландский камень, слова Финтана, греческие книги, франкские споры, двор Карла, тяжбы с епископами — все это было приведено к высшему порядку, когда я писал о природе и именах Божиих. Поэтому мне особенно близок этот миг у дверей триполийской церкви. Севир стоял там с пустыми руками, но за ним была вся его жизнь. И Христос принимал весь долгий путь, который вел к этой купели.

Севир поднял глаза на дверь храма.

— Пойдем, — сказал он.

И первым переступил порог.

Когда он вошел внутрь, прохлада церкви легла на кожу, словно смывая следы уличного света. Камень пола был гладок от многих шагов. Возле стен мерцали лампы. Голоса отдавались эхом, и каждый звук казался возвращенным к своему источнику. Севир слушал молитвы, слова отречения, исповедание веры, и вся прежняя жизнь кипела в нем как материя, ожидавшая преображения.

Когда вода коснулась его головы, Севир вдруг испытал глубокую внутреннюю ясность, словно долгий спор, продолжавшийся в нем с детства, наконец получил достойного судью. Теперь его слово было отдано Тому, Кто Сам стал плотью. Он вышел из купели уже не тем человеком, который входил в церковь. Имя осталось прежним, но стало иным по силе. Севир — Строгий — больше не означало только склад характера, родовую память или тайный приказ судьбы. Оно стало именем служения. Ему предстояло защищать Самого Единого Христа от всякого разделения, от всякой неточности, от церковной трусости, от политического мира, купленного ценой истины. В тот день в Триполи умер будущий светский юрист и родился воин Слова.

В Кьерзи я медленно опустил перо.

Слово *Iustitia* на пергаменте уже просохло. За окном был привычный франкский туман. Дворцовые шаги, приглушенные голоса, шорохи власти и заботы нынешнего века возвращались ко мне, но теперь они уже не могли заслонить увиденного. Я понял, что Берит был необходим Севиру так же, как Фахан был необходим мне. Монастырь научил меня читать мир как книгу Божию. Мать законов научила его удерживать тайну в строгой форме. Без Берита его огонь мог бы стать только горячностью споров, его мистическое ведение — неуловимым дыханием пустыни. Берит дал ему тот железный каркас, благодаря которому будущие Ареопагитики смогли соединить высоту Божественного Мрака с юридической точностью внутреннего строя.

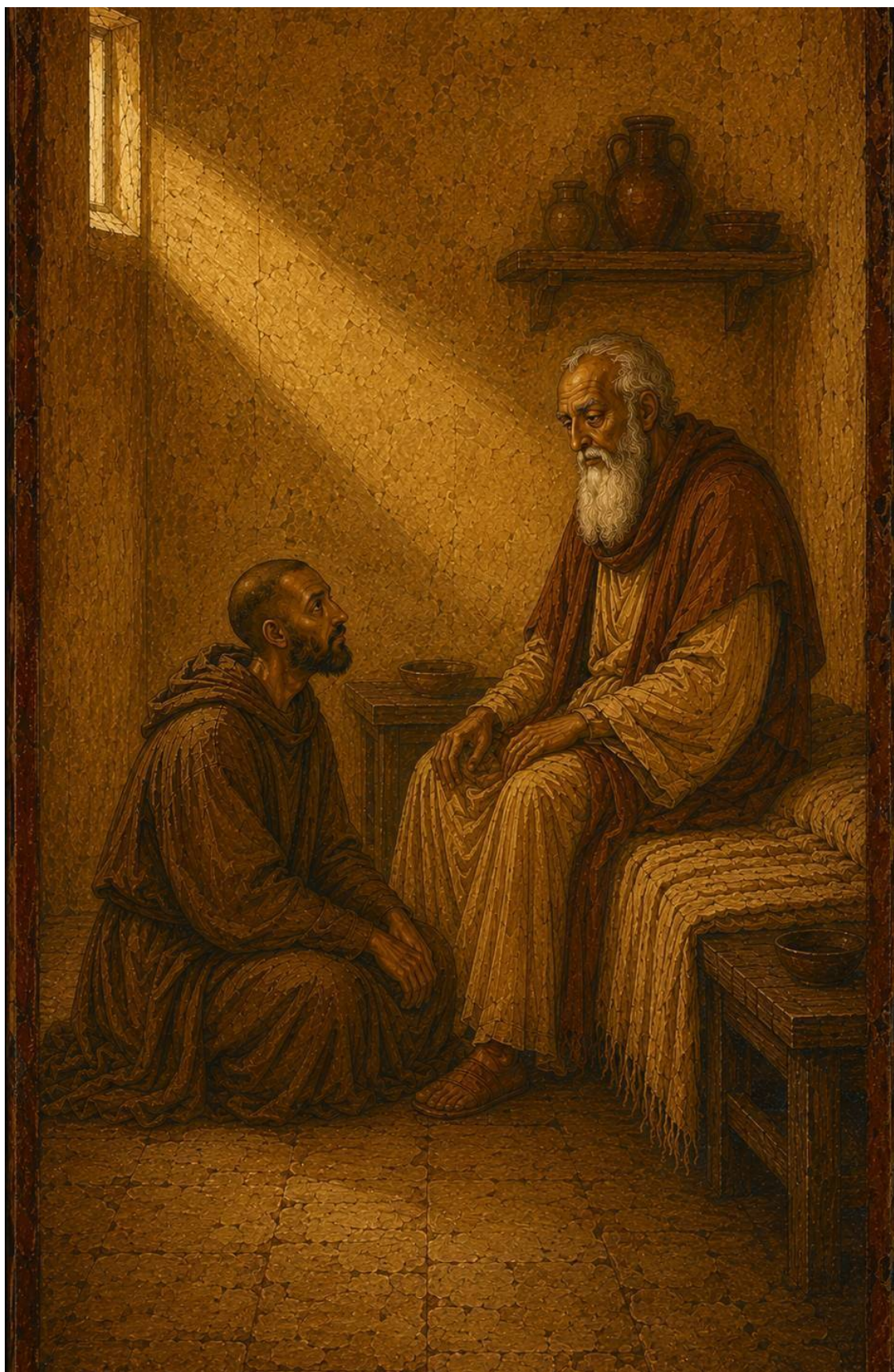
Я снова посмотрел на написанное латинское слово.

Iustitia.

Теперь оно представало для меня уже не только переводом греческой δικαιοσύνη. Оно казалось знаком пути, на котором человеческий ум принимает закон, затем превосходит его в вере, но не отбрасывает его как ненужную оболочку. Истинная справедливость начинается

там, где разум добровольно подчиняет свою силу Божественной тайне. Так Севир принял у империи форму, чтобы однажды сделать ее ковчегом для того, что выше всяких империй.

Я знал, что впереди его ожидала пустыня, встреча с Петром Ивером, великое молчание и тот Неизмеримый Мрак, из которого однажды родится самое опасное и самое светлое слово его жизни. Но это уже была следующая дверь.



Часть 3. Пески Маиумы (488–508 гг.)

После купели

Вслед за славой последовал Мрак.

Так часто бывает в сказаниях Востока. Сперва ум восходит к сиянию, к ангельскому пению, к ясности славословия, к тем словам, которые словно сами несут на себе отсвет небесного чина. Затем, когда человек уже приспособливается к высоте и ему кажется, что Свет и есть высшая форма Бога, перед ним внезапно раскрывается абсолютная Глубина, в которой всякое сияние, каким бы чистым оно ни было, оказывается лишь частным проявлением. Там, где превосходит и Свет, начинается то Непознаваемое, что ум уже не может воспринять как объект.

В тот день в Кьерзи снова было холодно, хотя за окном уже чувствовалось медленное подступление весны. Франкская сырость словно из последних сил цеплялась за камни, древесину стола, оседала в складках одежды, знобила пальцы, сжимающие перо. Свеча таяла без единого звука, мерно укорачивая час моего одиночества, и иногда ее пламя вздрагивало без видимой причины, словно рядом проходил кто-то, кому не требовалось открывать дверь. Я уже привык к таким малым признакам. За годы моей жизни я привык к фактически постоянному невидимому присутствию Добрых соседей. Они уже стали неотъемлемой частью той странной работы памяти, в которой греческий текст, лежавший передо мной, был Вратами к моему собственному прошлому, Порталом, ведущим сквозь время.

Я дошел до слова Γνόφος.

Оно стояло на листе темно и плотно, словно камень, за которым нет прохода для обычного зрения. В нем слышалось невыразимое состояние самого Божественного присутствия, Мрак, который превосходит свет. Тайная область, где Бог скрыт в силу избытка собственной полноты. Разум, привыкший различать, называть, устанавливать меру и строить лестницы понятий, приближается к такому слову и вдруг упирается в свой предел.

Я долго смотрел на эти буквы.

Греческий язык в такие минуты всегда становился для меня горнилом, испытывающим прочность моего разумения. Латинское слово уже требовало решения, но греческое еще не подпускало к себе. *Caligo? Tenebrae? Nubes?* Ни одно из этих слов не казалось мне достаточно верным. В *caligo* чувствовалась затуманенность, в *tenebrae* — ночная темнота, в *nubes* — облако, скрывающее видимое. А здесь речь шла о том Мраке, куда входил Моисей, когда свет Синая уже остался позади, и где Бог ближе, чем в огне и голосе.

Я поднял глаза от пергамента. За окном простирался тускло освещенный дворцовый двор, мокрый от недавнего дождя. Где-то далеко хлопнула дверь. По каменному полу прошел холод. И вдруг вместе с этим холодом в комнату словно ворвался сырой северный воздух, тяжелый от тумана. Я снова увидел Эмайн Маху.

Холм под ночным небом высился предо мной так ясно, как будто я только вчера уходил туда из Армы, скрываясь от дневного порядка, от латинских наставников, от взыскательных глаз, от тех людей, которые тщились превращать святыню в инструмент власти. Я снова почувствовал под ногами мокрую траву. Над Уладом висел низкий туман, и камни древнего места проступали в нем как ребра погребенного тела. В дневной Арме все имело свое название, правило, иерархию и должность. Ночью же на Эмайн Махе я по-настоящему чувствовал, что истина на самом деле коренится гораздо глубже тех форм, которыми люди пытаются ее описать.

Я помню, как Епископ Арттри боялся такой глубины. Он, конечно, не признался бы в этом вслух, но в глубине души его пугало все, что не подлежало контролю с помощью вой-

ска, силы и власти. Он много говорил о порядке, о святом Патрике, о правах Армы, о необходимости послушания единому центру. Однако в этом его холодном господстве чувствовалось инстинктивное стремление завалить живое камнями, сковать латинским словом, пронзить копьем Кумускаха, обложить церковным взысканием. В этом была та же опасность, которую я теперь обнаружил и в судьбе Севира. В его времена Империя тоже желала запечатать Бога. И делала она это строгостью юридических формулировок, письмами наместников и осторожной ложью тех, кто называл принуждение заботой о мире.

Я вернулся к пергаменту. Слово «*γυόφος*» казалось мне теперь очередными вратами памяти.

Тогда я понял, почему после школ и крещения Севир должен был прийти именно к Мраку. Я понимал, что крещение не завершило путь Севира, но оно сделало невозможным возвращение.

Это состояние было хорошо знакомо и мне, я привык называть его ирландским словом «*bánmartra*» — белое мученичество. У нас так именовали уход без крови и без меча, но с настоящей смертью для прежней жизни. Человек покидает дом, род, привычную землю, и сам становится своим собственным жертвоприношением.

Севир совершил именно это. Он оставил Берит, где право могло стать его царством, оставил блеск будущей карьеры, в котором его семья видела бы достойное продолжение своей традиции. Оставил Захарию, чья беспощадная дружба уже исполнила свою роль, оставил Стефана, в котором Созопольское детство напоминало о простом человеческом тепле. Рядом с ним остался только Евагрий — тихий, верный, по-своему мудрый, с той глухой аскетической выдержкой, которая поддерживает великие решения надежнее всяких слов.

Я снова видел Триполи, но уже как берег после крещения. Солнце уже начало склоняться к морю. Город был словно отделен невидимой стеной, со всеми своими лавками, криками, запахом смолы, рыбы, соли и мокрых канатов. Ветер у берега был чистым и резким, он оставлял на губах соль, сушил волосы и забирался глубоко в складки плащей.

Друзья прошли к берегу через морской квартал. Позади остался тяжелый, напивавшийся ладаном полумрак церкви, а впереди, между узкими стенами рыбных лавок и складов, уже пробивались плотные и серые отблески. Сухой известняк под ногами сменился влажным, замусоренным булыжником портовых переулков, где пахло прогорклым маслом, гниющими водорослями, сырой кожей и овечьим жиром. Стефан шел первым, придерживая мешок за ремень, Захария что-то на ходу доказывал Евагрию, но слова его тонули в нарастающем шуме прибоя, а Севир держался поодаль, погруженный в свои мысли и переживания.

Они вышли за портовую арку, и городская теснота разом оборвалась. Перед ними простиралось море, широкое, сверкающее и равнодушное к человеческим решениям, свинцовое поле, в котором редкий дневной свет едва удерживал тонкую полоску горизонта. Здесь, у самой воды, все прежнее умное многословие Александрии и Берита казалось мелким и даже отчасти смехотворным. Ветер у моря не знал законов и преемства, выдувая последнее тепло былой уверенности.

Севир стоял и глядел на морскую гладь. Его плащ, еще хранивший складки дорожного сундука, тяжело хлопал на ветру. Его взгляд был прикован к той грани, где волна разбивалась о серую гальку, превращаясь в пену. Юрист, только что смывший с себя право повелевать чужими имуществами, теперь вслушивался в этот безликий, непрерывный рокот. Здесь, на сыром берегу, среди криков чаек и запаха дегтя, его доспехи из слов сбрасывались, как отжившая оболочка. Он понимал, что сама судьба теперь зовет его в места, где Беритское признание больше не послужит ни щитом, ни наградой.

Вода уже высохла на его лице, но внутри все еще сохранялось чувство, будто купель не отпустила его до конца. Он слышал голоса рядом, видел движение людей, замечал птиц над пристанью, но все это казалось ему вторичным. Главным было то, что теперь все прежнее про-

шло свой окончательный суд. Его имя, дом отца, школы и диспуты — все уже не принадлежало ему так, как прежде. В купели было смыто еще и его прежнее право быть единственным хозяином своего ума. Юрист, привыкший подчинять слова своей выгоде, больше не мог распоряжаться собственной памятью по своей воле — отныне она принадлежала только Истине. Он думал об этом с той слепящей ясностью, которая приходит после великого внутреннего события, когда душа еще не смеет радоваться, но уже не в силах и лгать.

«Коли я теперь принадлежу Христу, — думал он, глядя на море, — то чему принадлежит мой ум? Вправе ли он и дальше искать победы в словах? Может ли мое знание закона служить мне самому? Может ли имя Severus оставаться моим достоинством, когда оно уже стало моим крестом?»

Ему хотелось молиться, но слова не находились. Странно: человек, привыкший разбирать самые трудные формулы, в первый час после крещения словно потерял дар речи. Он знал Символ веры, знал молитвы, слышал церковные песнопения, но в глубине души царило не слово, а тишина. Эта тишина была для него непривычной, до этого он всегда мог опереться на мысль. Теперь же все прошлое стояло позади него как умолкший свидетель, уже давший все свои показания.

Первым подошел Захария.

Он был взволнован сильнее, чем хотел показать. Лицо его сохраняло обычную живость, но глаза выдавали глубокое внутреннее движение. Для него крещение Севира было не только свершением друга. В этом событии он уже предчувствовал нечто большее, хотя еще не мог сформулировать. Захария умел видеть в человеческой судьбе будущую книгу. Он еще не был тем свидетелем, каким станет позднее, но уже обладал выдающейся способностью запоминать не только саму канву событий, но и их внутреннее значение.

— Ты молчишь так, будто уже жалеешь о случившемся, — сказал он.

Севир повернулся к нему.

— Нет.

— Тогда почему у тебя лицо человека, которому только что вынесли приговор?

Севир чуть заметно усмехнулся, но усмешка была усталой.

— Потому что приговор и был вынесен.

Захария долго смотрел на него. В прежние месяцы он непременно ответил бы быстро и горячо, теперь же сдержался. Крещение друга не давало ему права на победу.

— Приговор может быть освобождением, — сказал он тише.

— Может. Но освобожденному нужно понять, куда идти.

— В Церковь.

— Я уже вошел в нее.

— Тогда к служению.

Севир посмотрел на море.

— Это очень общее слово. Им можно назвать и кафедру, и школу, и суд, и писание, и монастырь. Даже имперский чиновник скажет, что служит порядку.

Захария вздохнул. Он хорошо знал этот тон. Севир уже снова начинал рассекать слово, хотя сам еще стоял в свежести купели.

— Ты опять ищешь точную формулу раньше, чем успел принять дар.

— Дар, не получивший формы, может быть утрачен.

— А форма, которую ухватили слишком рано, может стать новой тюрьмой.

Эти слова сказал не Захария.

Евагрий стоял позади них. Он говорил редко, и потому даже простая фраза из его уст приобретала особый вес. В нем не было полемической горячности Захарии и тем более не было мягкой домашней дерзости Стефана. Евагрий говорил так, словно прежде долго носил мысль в молчании, а потом отдавал лишь то, без чего уже нельзя было обойтись.

Севир повернулся к нему.

— Значит, и ты решил меня учить?

— Нет, — спокойно ответил Евагрий. — Я говорю это себе.

— Себе?

— Сегодня крестился ты. Но путь, на который ты вступил, уже касается и меня.

Севир впервые за этот день посмотрел на него внимательнее. Евагрий стоял в простой дорожной одежде, с опущенными плечами и спокойным лицом. Но в его глазах была очевидная готовность к долгому труду, который не обещает победного итога.

— Ты не вернешься в Берит? — спросил Севир.

— Нет.

Захария резко поднял голову.

— Ты говорил, что завершишь курс.

— Я так думал.

— А теперь?

Евагрий посмотрел на церковь святого Леонтия, белевшую за их спинами.

— Теперь мне кажется, что если я вернусь туда за дипломом, я буду ежедневно доказывать себе, что не расслышал того, что слышу уже давно.

Севир молчал. Эти слова задели его неожиданно сильно. Для себя самого он еще не сформулировал окончательного решения. Конечно, он уже понимал, что путь к обычной карьере теперь для него закрыт. Но одно дело понимать невозможность прежней жизни, и другое — назвать новое направление. Евагрий, человек менее блестящий и менее стремительный, вдруг сказал это первым.

— Куда же ты пойдешь? — спросил Севир.

— С тобой.

— А если я сам еще не знаю, куда?

— Тогда до того места, где узнаешь.

Стефан, до сих пор молчавший, тихо рассмеялся. Смех его был негромким, и в нем слышалась легкая грусть.

— Вот и вышло, что самый спокойный из нас решил все раньше остальных.

Он подошел ближе, положил руку Севиру на плечо и на мгновение задержал ее там. В этом жесте было больше Созополя, чем Триполи. Так друг детства касается человека, которого еще помнит мальчиком, хотя перед ним уже стоит взрослый муж.

— А ты? — спросил Севир.

Стефан понял вопрос сразу.

— Я не пойду в пустыню.

Он сказал это просто, без оправданий, и потому Севиру стало больнее.

— Я знаю.

— Нет, ты пока только догадываешься. Я скажу ясно. Я довел тебя до купели, Строгий. Дальше тебе нужен не я.

— Не говори так.

— Почему? Потому что ты любишь точные слова, пока они не касаются сердца?

Севир отвел взгляд.

Стефан улыбнулся, но в улыбке не было прежней насмешки.

— Я останусь там, где мне дано жить. В мире домов, семей, церквей, простой человеческой верности. Я не создан для песков, старцев и ночных битв с самим собой. Если я пойду за тобой, то буду только смотреть на тебя и вспоминать, каким ты был в Созополе. А тебе уже нельзя часто видеть в себе того мальчика.

Эти слова влились в Севира решительным потоком. Он увидел внутренний двор дома своего детства, молодого Стефана у фोरума, его палец, указывающий на гладкие щеки, его

шутку о бороде и Христе. Увидел материнскую комнату Ареты, где запах старых благовоний оставался в ткани даже после того, как лампы гасли. Стефан был связан со всем этим, с самой человеческой теплотой прежнего мира, с тем, что было нельзя ненавидеть, хотя и необходимо оставить.

— Ты думаешь, я должен забыть Созополь? — спросил Севир.

— Нет. Ты не умеешь забывать. Ты все превращаешь в закон, в хроники своей бездонной памяти. Но теперь Созополь может выглядеть для тебя лишь как дом, который благословил твой уход, он не должен быть рукой, удерживающей за край плаща.

Захария впервые за долгое время улыбнулся.

— Для человека, который якобы не богослов, ты говоришь сегодня очень глубоко.

— Я говорю проще вас обоих, — ответил Стефан. — Просто вы слишком долго спорите там, где нужно прощаться.

После этих слов опустилось молчание.

Прощание действительно уже повисло между ними. Оно было сдержанным, ровным, будничным — таким, какое приходит в час, когда люди еще могут встретиться снова, но прежняя общая дорога уже завершилась. Все они еще могли встретиться. Захария будет приезжать. Стефан сможет писать, сможет передавать вести, сможет вспоминать. Но общий юношеский путь завершался именно здесь, на берегу у Триполи. До купели они шли одной дорогой: Созополь, Александрия, Берит, споры, чтение, ожидание, решение. После купели дороги расходились.

И мне, когда я увидел это, вспомнился мой исход из Армы.

Бывают такие места, которые сперва спасают человека, но затем становятся для него тесны сильнее, чем допустимо. Арма была для меня именно таким местом. Она дала мне и высокую школу латинской буквы, церковного порядка, диалектики, но и приучила к внутренней осторожности. Там я научился выживать под взглядом Артри, там слово стало для меня защитой, там я понял, что ум может скрывать свой огонь за безупречной строкой. Но после Эогана Майнистреха прежняя Арма уже стала просто сковывающей. Он показал мне звезды над монастырской оградой, и с той ночи я уже не мог принимать стены школы за предел мира. Тривиум исполнил свою меру. Латынь перестала быть убежищем. Мысль уже требовала свободы.

Так, думаю, чувствовал себя и Севир после Триполи. Он перерос Александрию, где мудрость показала ему и красоту слова, но и его пустоту, когда оно бедно пониманием. Он перерос Берит, где юридическая форма дала железную точность, но уже не могла ответить на вопрос, как предстоять перед Высшим без заранее продуманной защиты. Эти города сделали его тем, кем он стал: Александрия раскрыла в нем высоту и опасность ума, Берит дал ему строгую власть определения. Однако после трансформации в купели все это уже потеряло свою силу. Крещение потребовало привести его умения и таланты к более высокому служению.

Потому его уход в пустыню Маиумы был сродни моему отплытию во Франкию. Я уходил из Армы человеком, для которого прежняя ученость стала приготовлением к большему труду. Впереди была чужая земля, двор Карла, греческие книги, необходимость дать восточной глубине латинский голос. Севир же шел от школ к пустыне, от спора к старцу, от права к Мраку. Его ждал новый учитель, Петр Ивер, который должен был совлечь с него самую уверенность в том, что истину можно охватить одной правильной формулой.

Я хорошо помню серую воду перед отплытием из Ирландии: мокрые доски, запах соли, просмоленного дерева и шерсти, узлы дорожных вещей, голоса людей, занятых делом, за которым скрывалась перемена всей жизни. Тогда я понимал, что Арма остается во мне, но больше не владеет мной. Она дала мне язык, но не могла вместить все, что этому языку предстояло сказать. Севир стоял у южного моря в таком же состоянии, когда круг жизни уже разомкнулся. Он больше не был учеником школ. Он становился человеком, которому предстояло принести их дары к порогу Божественного Мрака.

Так человек перерастает свое прошлое через верность его глубинному смыслу. Школа становится истинной лишь тогда, когда однажды отпускает ученика дальше себя. Арма отпустила меня к Франкии и греческой тайне. Берит и Александрия привели Севира к Майуме и Петру Иверу. В обоих случаях море было видимым знаком перехода: за ним начиналось служение, где прежнее знание подвергалось суду более высокой меры.

Захария словно почувствовал эту перемену и первым нарушил молчание.

— Я тоже не иду с вами сейчас.

Севир кивнул.

— Я знаю.

— Нет, и это нужно сказать ясно. Я возвращусь к учению, к делам, к тем людям, которые говорят, пишут, ездят, спорят, передают письма. Кто-то должен оставаться снаружи.

— Снаружи чего?

— Твоей пустыни.

Севир нахмурился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.